

Михаил Булгаков

Ранняя неизданная проза

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner:

<http://verlag.kubon-sagner.de>

© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig.

«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH



ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK · 12
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

Михаил Булгаков

Ранняя неизданная проза

Составление и предисловие

Ф. Левина

1976

Мünchen · Verlag Otto Sagner in Kommission

Diese Erstedition der frühesten Prosatexte von Michail Bulgakov, die in den Jahren 1922-1924 in heute kaum zugängigen Periodica abgedruckt waren, füllt eine wesentliche Lücke in der Bulgakov-Forschung. Sie bilden eine Bereicherung unserer Vorstellung vom Moskau der 20er Jahre. Ich freue mich, sie nun vorlegen zu können, ergänzt durch Vorwort und Anmerkungen (mit Textvarianten). Ihre Beschaffung war ebenso mühsam wie - wegen des sehr unsorgfältigen Zeitungsabdrucks - die Rekonstruktion des mutmaßlich ursprünglichen Textes. Der Universität zu Köln danke ich für die Unterstützung zur Beschaffung und Bearbeitung der Texte. Die Druckvorlage erstellte Frau Karin van Ackern, M.A. Die Durchsicht besorgten als Russen Frau Dr. Galina Berkenkopf, Frau Dr. Maria Bräuer-Pospelova, Frau Svetlana Maksimova und Herr Hermann Fein. Allen bin ich für ihre Hilfe dankbar.

Die Zeichnung gegenüber dem Titelblatt stammt von A. Orlov, einem russischen Emigranten der 20er Jahre in Berlin, und trägt den Titel "Meine Wohnung in Moskau". Sie wird erstmals veröffentlicht. W.K.



Als Manuskript vervielfältigt
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 3 87690 120 0

Gesamtherstellung Walter Kleikamp · Köln

77/37312

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге впервые собраны ранние прозаические сочинения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940 г.), издававшиеся в 1922-1924 годах в газете "Накануне". Из общего числа 25 публикаций Булгакова в этой газете не отобран рассказ "Похождения Чичикова", так как он уже печатался несколько раз.¹

Ежедневная газета "Накануне", которую редактировал Алексей Николаевич Толстой, была берлинским органом небольшой группы эмигрантской интеллигенции, называвшей себя "сменовеховцами". Это наименование связано с опубликованным в Праге в 1921 году сборником "Смена вех" и с одноименным журналом, который выходил в Париже в 1921-1922 годах. "Сменовеховцы" признавали из патристических соображений большевистское правительство как единственно законное, не разделяя однако идеологии марксизма-ленинизма. Введение в феврале 1921 года "Новой экономической политики" возбудило в них надежды на нормальное "буржуазное" развитие Советской власти. Вследствие такого отношения к большевикам "Накануне" имело в Москве свое бюро. Газета пользовалась большим успехом в Советском Союзе. Статьи московских сотрудников дважды в неделю переправлялись дипломатической почтой в Берлин. Среди публиковавшихся в "Накануне" советских писателей, таких, как Федин, Есенин, В. Катаев, был и Булгаков, ставший благодаря своим сатирическим фельетонам любимцем редакции и читателей.²

24 рассказа Булгакова расположены в настоящем сборнике в хронологическом порядке. Даты, проставленные в конце каждого рассказа, указаны самим писателем.

Публикации Булгакова в "Накануне" очень различны и по размеру (1/2-5 газетных страниц в оригинале) и по тематике, причем очень силен автобиографический характер, часто диктующий структуру рассказа от первого лица.

Большинство представляет собой фельетонные зарисовки эпохи НЭПа, в которых писатель сатирически бичует распространенные в то время экономические затруднения ("Записки на манжетах", "Москва краснокаменная", "Столица в блокноте", "Сорок сороков", "Под стеклянным небом", "Путевые заметки", "Бенефис лорда Кер-

зона", "Комаровское дело", "Киев-город", "Золотистый город", "Москва двадцатых годов"). Из этих фельетонов особый интерес представляют "Под стеклянным небом" и шестая часть "Столицы в блокноте", так как в них обнаруживаются тематические зачатки позднейших произведений писателя. Так, к сцене валютной спекуляции в фельетоне "Под стеклянным небом" восходит "Сон Никанора Ивановича" - 15-ая глава романа "Мастер и Маргарита" - почти полностью выпавшая из первой публикации романа в журнале "Москва" (ноябрь 1966 г. и январь 1967 г.), однако восстановленная в советском издании 1973 года. В шестой части "Столицы в блокноте" Булгаков беспощадно громит биомеханику Мейерхольда, которая представлялась столь ужасной писателю, связанному с традиционной драматургией. Эта антипатия к системе Мейерхольда выражена в "Раковых яйцах": "Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке Пушкинского "Бориса Годунова", когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга "Курийдох" в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кутерна".³

Еще более тесная связь с поздними произведениями прослеживается в публикациях "В ночь на третье число" (из романа "Алый мах"), "Вечерок у Василисы" и "Багровый остров".

"В ночь на третье число" представляет собой один из вариантов заключительной главы "Белой гвардии" ("Алый мах" - это одно из черновых названий романа), который не вошел в окончательный текст. Хотя параллельные сцены (например, убийство еврея мародерами-петлюровцами) наличествуют, романский вариант значительно отличается от текста в "Накануне" в отношении как самого события, так и отдельных слов его описания. В отрывке "В ночь на третье число" Турбины именуются Бакалейниковыми. Автобиографический элемент (в отличие от позднего художественного остранения) проявляется в газетном варианте и в том, что Булгаков упоминает "Андреевскую улицу" (носящую и ныне это название). Продолжением Андреевской улицы является Андреевский спуск, где находится дом, описанный в романе как дом Турбиных, в котором родился сам писатель.⁴

"Вечерок у Василисы" известен как глава из "Белой гвардии". Романский вариант, в основном, короче. Он отличается от публикации в "Накануне" более тщательным отбором слов и отсутствием целых абзацев. Обе главы в "Накануне" относятся к той самой третьей части "Белой гвардии", которая была напечатана в 1929 году в Париже и в Риге. В Советском Союзе все три части романа были полностью опубликованы в 1966 году в сборнике "Избранная проза". В журнале "Россия" в 1925 году появились только первые две части. Но так как журнал после этого перестал существовать, третья часть так и осталась неопубликованной.

Написанный по мотивам произведений Жюль Верна рассказ "Багровый остров" позднее переработан Булгаковым в одноименную драму (1927-28 гг.). И в этом случае Булгаков шел тем же путем, что и при переработке "Белой гвардии" в пьесу "Дни Турбиных".⁵ Поместив под названием рассказа "Багровый остров" замечание: "перевел с французского на эзопский", Булгаков использовал выражение Салтыкова-Щедрина, называвшего "эзопским языком" маскировку сатиры на современные темы — своего рода тайнопись, к которой вынуждается художник давлением цензуры. Таким образом, Булгаков сам дает явное указание для понимания своей сатиры.⁶ Имея в виду свою драму, в которой высмеивается театральная цензура в Советском Союзе, Булгаков следующим образом формулирует свой взгляд на это учреждение: "Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода"⁷.

Особняком стоит рассказ "Красная корона", единственный, в котором отсутствуют сатирические элементы. Булгаков изображает душевные переживания умалишенного, который обещал матери оберегать своего младшего брата. Однако этот брат теряет в Гражданской войне сначала зрение, а потом и жизнь. Способ повествования в этом рассказе напоминает почерк писателя в исторических главах романа "Мастер и Маргарита". Изображение страха героя перед ярким солнечным светом, его отчужденность от людей и чувство вины за гибель человека, которую он не смог предотвратить, подготавливает описание страданий Понтия Пилата.

За включение этого сборника в его серию "Arbeiten und Texte zur Slavistik" я глубоко благодарю г-на проф. доктора Вольфганга Казака. Проф. Казак оказывал мне постоянную помощь своими советами в течение всего времени моей работы над этой книгой.

Тексты Булгакова напечатаны в "Накануне" с очень многими ошибками. Одна из целей этого издания была составить грамматически и орфографически правильный русский текст. Все места, вызывающие хоть малейшее сомнение в восстановленном тексте, упомянуты в приложении. При корректурах оказали мне содействие Frau Karin van Ackern (M.A.), которая и напечатала текст, Frau Dr. Galina Berkenkopf, Frau Dr. Maria Bräuer-Pospelova, г-жа Светлана Максимова и г-н Герман Фейн. Всем выражаю свою благодарность.

Köln, ноябрь 1976 года

Volker Levin

¹ После смерти Булгакова рассказ был опубликован в следующих сборниках и журналах: М. Булгаков, Сборник рассказов, Нью-Йорк, 1952; "Сельская молодежь", 1966, № 1, с. 39-41; М. Булгаков, Дьяволиада, Лондон, 1970; *Classics of Soviet Satire. Vol. 1.* Ed. by P. Henry. London 1972, p. 181-192. Книга переведена на немецкий язык Aggy Jais: M. Bulgakov, Meistererzählungen. München-Berlin 1970, на английский — K. Proffer'ом: M. Bulgakov, *Diaboliad and other Stories.* Bloomington-London 1972. Библиографический указатель к первым публикациям, перепечаткам, вариантам текста и переводам рассказов на немецкий и английский языки приводится в приложении.

² "сменовеховцах", "Накануне" и отношениях с этой газетой Булгакова см. в воспоминаниях Эм. Миндлина, "Накануне" и "Михаил Булгаков", в его кн.: Необыкновенные собеседники, Москва 1968, с. 116-143, 144-155.

³ М. Булгаков, Роковые яйца, Лондон, 1970, с. 50.

⁴ Ср. В. Некрасов, Дом Турбиных, "Новый мир", 1967, № 8, с. 132-142.

⁵ О соотношении "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" см.: L. Milne, *The Emergence of Mikhail Bulgakov as a Dramatist.* Ph.D. Thesis. Cambridge 1975. Приношу благодарность г-же д-р Милн за богатые библиографические сведения, которые она предоставила в мое распоряжение.

⁶ О технике маскировки в поздних сатирических произведениях Булгакова см.: V. Levin, *Das Grotteske in Michail Bulgakovs Prosa mit einem Exkurs zu A. Sinjavskij.* München 1975. S. 114-117 (Arbeiten und Texte zur Slavistik. 6).

⁷ М. Булгаков, Письмо советскому правительству, "Грани", 1967, № 66, с. 155-161, 158.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
Записки на манжетах	11
<i>Примечания</i>	197
Москва краснокаменная	23
<i>Примечания</i>	212
Красная корона	28
<i>Примечания</i>	212
В ночь на 3-е число	34
<i>Примечания</i>	212
Столица в блокноте	47
<i>Примечания</i>	212
Чаша жизни	62
<i>Примечания</i>	213
Сорок сороков	67
<i>Примечания</i>	213
Под стеклянным небом	74
<i>Примечания</i>	213
Московские сцены	78
<i>Примечания</i>	213
Бенефис лорда Керзона	85
<i>Примечания</i>	213
Путевые заметки	89
<i>Примечания</i>	214
Комаровское дело	92
<i>Примечания</i>	214
Киев-город	98
<i>Примечания</i>	214
Самоцветный быт	108
<i>Примечания</i>	214

Самогонное озеро	112
<i>Примечания</i>	214
Шансон д'этэ	118
<i>Примечания</i>	214
День нашей жизни	123
<i>Примечания</i>	214
Псалом	129
<i>Примечания</i>	214
Золотистый город	134
<i>Примечания</i>	215
Белобрысова книжка	150
<i>Примечания</i>	215
Золотые документы	155
<i>Примечания</i>	215
Багровый остров	158
<i>Примечания</i>	215
Москва 20-х годов	174
<i>Примечания</i>	215
Вечерок у Василисы	186
<i>Примечания</i>	215

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Плавающим, путешествующим и страдающим писателям русским

I

Кавказ

.....

II

Тиф возвратный

.....

III

Что мы будем делать?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твэном мальчишкина голова (ляцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой дыра. На ногах серые обмотки. Одна длинная, другая короткая. Во рту двухкопеечная трубка. В глазах страх с тоской в чехарду играют.

— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой.

Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра, с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно.

— Ка-кая разница?..

— Как какая? Впрочем, ведь вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины грабят и убивают.

— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зло-
вонной трубочкой.

— Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вооб-
ще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

— Я не вол-нующьсь...

— Пустяки! — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!

— Что? Пус-тя-ки?

— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб
дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мáма! Мáма! Что мы будем де-лать!

— В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло
вдохновенье.

— Подотдел искусств откроем!

— Это... что та-кое?

— Что?

— Да вот... подудел?

— Ах, нет! Под-от-дел.

— Под?

— Угу.

— Почему под?

— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаробраз или
обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел: Под. Понимаешь?

— Наро-браз. Дико-браз. Барбюсс. Барбос.

Взметнулась хозяйка.

— Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет.

— Вздор! — строго сказал Юра, — вздор. И все эти мингрельцы,

имери... Как их? Черкесы. Просто дураки.

— Ка-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить.

— А что с нами? Бу-дет?

— Пустяки. Мы откроем...

— Ис-кусств?

— Угу. Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

— Не по-ни-маю...

— Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

— Потом объясню! Все будет. Я уже загадывал. Нам что? Мы апо-литичны. Мы — искусство.

— А жить?

— Деньги за ковер будем бросать!

— За какой ков...

— Ах, это у меня в том городишке, где я заведывал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

— А я?

— Ты завлито будешь. Да.

— Какой?

— Мишенька! Я вас прошу!..

IV

Лампадка

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито. Литераторы. Несчастные мы. Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отбирают. Шум. В луну стреляют. Фельд-шерица колет ноги камфорой. Третий приступ.

— О-о! Что же будет?! Пустите меня. Я пойду, пойду, пойду.

— Молчите, Мишенька милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колеблется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

— Ма-а-ма! Ма-а-ма!

V

Вот он — подотдел

Солнце! За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами; колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизме актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывается и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

— Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галлифе. Вонзается в группы и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет — все бледнеет. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням страх несвойственен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл.

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

— Завлито?

— Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там

В сердце бьется динамо снаряд

Та, та, там.

— Стишки — ничего. Мы их... того... как это... В концерте читаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего — барышня. Но почему чулки не подвяжет?

VI

Камер-юнкер Пушкин

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина Александра Сергеевича, царствие ему небесное.

Так дело было:

В редакции под винтовой лестницей свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих штанах, да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году зачавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно выходил смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое напоенное чернилами перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терка он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!

Я вам спов чрезвычайку!!

Это было эффектно.

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском. И обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за "вперед гляжу я без боязни", за "камер-юнкерство и холопскую стихию" вообще, за "псевдореволюционность и жанжество", за неприличные стихи и ухаживание за женщинами.

Обливаясь потом в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей.

— Выступайте оппонентом.

— Не хочется.

— У вас нет гражданского мужества.

— Вот как? Хорошо, я выступлю.

И я выступил, чтоб меня черти взяли. Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

... ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил Он:

Клевету приемлю равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу. Я кулаком грозил черной ночи.

И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

— Дожди его! Дожди!

.

Но зато потом!! Но потом...

Я — "волк в овечьей шкуре". Я — "господин". Я — "буржуазный подголосок"...

.

Я — уже не завлито. Я — не завтео.

Я — безродный пес на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят — вздрагиваю.

.

0, пыльные дни. 0, душные ночи.

И было в лето от Р. Х. 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскуррант вин. В книжечке его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума я сойду, вот что...

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, не

ннавидит. Но тому что! Он там, идеже несть.

А я пропаду, как червяк.

VII

Бронзовый воротник

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-вом. Так и
выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!

.

Беллетриста Слезкина выгнали к черту. Несмотря на то, что у
него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его
мместо. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер...

.

VIII

Мальчики в коробке

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звезд-
ный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут
звезды и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на
ббулавках, будем подыхать.

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У
ччерта на куличках, у подножия гор в чужом городе, в игрушечно-
зверино-тесной комнате у голодного Слезкина родился сын. Его
пположили на окно в коробку с надписью:

М-ше Marie. Modes et robes.

И он скулит в коробке.

— Бедный ребенок.

Не ребенок. Мы бедные.

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, да-
леко на севере бескрайние равнины. На юг — ущелья, провалы,
ббурливые речки. Где-то на западе море. Над ним светит Золотой
РРог.

... Мух на tangle-foot'e видели?

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость. Но выпьешь — и легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать.

Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся.

Какие имена на иссохших наших языках! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!

.

Только через страдание приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

IX

Сквозной ветер

Еврейнов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется; уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели в вашей судьбе.

Без денег сидел. Вещи украли.

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

Вот не доедем, да и только!

Естественно, что не доедешь, если не знаешь, куда едешь.

Вчера ехал Р. Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы.

— Не встану. Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Беллетрист Пильняк, в Ростов мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович с севера.

Глаза усталые. Доклады читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованная... Теперь пишут. Необыкновенно пишут. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону.

Местный цех in согроте под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее.

Уехал Серафимович... Антракт.

X

Портянка и черная мель

.....

Голодный поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

Александр Пушкин. Lumen соелум, vansta rosa. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли? Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь.

XI

Не хуже Кнута Гамсуна

Я голодаю. "

. "

. "

XII

. "

. "

XIII

. "

Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят. "

Цихидзири. Маханджаури. Зеленый мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а по ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один

из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне. Кто растолкует мне остальные?

На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинается, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехъярусные огни, "Полацкий" идет на Золотой Рог.

.
Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал. У него давно уже не было денег. И он три дня не ел. Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал "новый заведывающий".

Он вышел и заявил:

— Па иному пути пайдем. Не нады нам больше этой парнографии: "Горе от ума" и "Ревизора". Гоголи. Моголи. Свои пьесы сачиним.

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать...

XIV

Домой

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком.

Но домой. Жизнь погублена. Домой.

В Москву! В Москву!!

. " "

Прощай Цихидэри. Прощай Махинджаури. Зеленый мыс!

1920 - 1921 г.

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

I

Улица

Жужжит Аннушка, звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — "Ява рассыпная" — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую Аннушку швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходила. Горбы за собой на салазках таскала. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы, вали в магазин.

У другой нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полосу. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в Хму, не то в Цусе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эмпео (в легендарные времена назывался Елисейев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища.

— Э — э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш... с-с...

И цирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая тоже с водяными знаками — фальшивая.

В Эмпео — Елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры, гроздь, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

— А мимо по избитым торцам велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой, удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. Ара.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется — наглы, с лимонными людьми — угодливы.

— Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая многоликая масса, что носит

у московских кондукторш название: граждáне (ударение на втором слоге) — ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещет в Москве. Большею частью ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон Аннушка заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а "лезут". Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите-повисните! Попробуйте: с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Граждáне, нельзя с вещами.

— Да что вы... маленький узелочек.

— Гражданин! Нельзя!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

— Граждáне, получайте билеты. Граждáне, продвигайтесь вперед.

Граждане подвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадаете уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревоушательские силые альти порт:

— Сиводнишня Известия-я... Патриарха Тихxxx-а-а-ана!.. Эсеры... "Накану-у-не"... из Бирлина только што па-а-лучена.

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыков-

ский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир "Спорт". Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство "сандаля". Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и "мальчишковая". Врывсель промгвну. Уни-торг, мосторг и главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне, белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотрись. Пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому не понятно. Бегут нувориши мимо, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. И мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе "Куку". Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником.

... Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

— Ну, что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому ненужное время — ночью. А на утро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят.

— Видно так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает, никому неизвестно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

... И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

Москва, июль 1922

КРАСНАЯ КОРОНА

Historia morbi

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел,, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх умел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал: — Господин генерал, вы — зверь. Не смеее вешать людей.

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговаривал не из страха перед смертью. О, нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

* * *

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная последняя картина.

* * *

Старуха-мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу — безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

— Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить. Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

А я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

* * *

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь не при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля. Коля! — Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы..

— А... брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на десять лет.. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

* * *

Через час я увидел его. Также рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и

один из них — правый, то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями — клочьями.

Всадник, брат мой, в красной лохматой короне сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешил, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... Что ж, брат, доктора. Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

* * *

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу в № 63 он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику.

Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит я сошел с ума.

* * *

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура "Фауста" на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой.

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав "иди", не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

* * *

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к

вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали плотно, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в № 227-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре.

— Безнадежен.

* * *

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

В НОЧЬ НА 3-Е ЧИСЛО

Из романа "Алий мах"

Пан куренной в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным.

— В бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренной взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело — трах — трах — ах — тах — дах — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так — снег холодный. Но если с высоты 3-х саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и, наконец, — твердая обледеневшая покатошь.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я — дурак. Я — жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я — монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вон оттуда из черной тьмы за Слободкой обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренной и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Мащенко. Оба падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию, — вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я — монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, причем он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодля. Гнусные погромщики и грабители.

— А — а —... так..., — зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, — ттоварищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искряться и

сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренной, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда, — говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой, наконец, слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзкую тряпку.

— Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил, наконец, омерзительную тряпку; медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О мир! О благостный покой!

Звериний визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жида порют, — негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то

широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя — и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?!

Не произошло неоправданной беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров, сечевиков и гайдамаков, посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренной, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сняй Дивизия! Покажи себе! — как колотушка, стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от налезавшей шетины штыков, встал на дыбы. —

— Кро-ком рушь!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

* * *

О, звездные родные украинские ночи. О, мир и благостный покой!

* * *

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной

квартире доктора Бакалейникова был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за ней по пятам.

— Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

— Ей Богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

— Ну, что ты, ей-Богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи — хи. Это он сделал прическу а ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сушая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской "Голярня", Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то чернoblузником. Юрий Леонидович — вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец, разминулись.

— Подумаешь, украинский барин! Пол тротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свитер с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила брововую шапку. А под

Дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из "Голярни" и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

— Уберите это! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папу-ас!

— Команч. Вождь — Соколиный глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!

Моря царица, Веденец славный!..

Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-род ди-и-вный!!

Звенящая лава залила до краев комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над покоренными аккордами, вывел изумительным меццо-воче:

Месяц сия-а-а-ет с неба ночного!..,

и Колька, и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски-грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело "до", оборвался и голос, и Колька вскочил, как ужаленный.

— Голову даю наотрез, что это Василиса! Он, он, проклятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь...

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заметался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

— Да не бойся ты, Господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во

дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной... Дон, дон... дон...

Колька угадал. Василиса — домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдале самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома и каждое утро, вставая, ждал, бедняга, какого-то еще нового чрезвычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что при родное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать — Вас. Лис. и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью.

Нечего и говорить, что лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с Вас. и Лис., весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домашней охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе Авдотьей Семеновной — женой сапожника. Поэтому в графе — 2-е число: от 8 до 10 — Авдотья и Василиса.

Вообще, удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васил... ис... Иванович, — уныло озавоченно бросил Колька на прощание, — в случае чего... того... на мушку, — и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям... .

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минутку. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запушенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень, и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло и вот он, Василиса, лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, закоченел с палкой в руках.

Месяц сиял.

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто и рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай.

Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьян кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

— О, что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10-12 час) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка. Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

— А если они не пустят?

— Ну — у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно, — подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино.

Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

Соль... до!..

Проклятьем заклеял...

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат "ура!":

— У-а-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

* * *

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто, с лицом, синим и черным, в потеках крови, волокни по снегу два хлопца, а пан куренной бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжко и хлестко вливался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а.

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — иступленно кричал пан куренной, — к штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що!?!..

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже... ух... Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью млечного пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой

вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла, наконец, на помощь обессилевшему и жалкому в бессильи человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук,, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

* * *

... Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостовые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренной, исчез полковник Мащенко. Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

* * *

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону, прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади, наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Стый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!.

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше — сеть переулков кривых и черных. Прощайте!

* * *

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеея

по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача "першого полку синей дывызии". На случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

* * *

Около 3 ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок.

— Ну я ж говорил! — заорал Колька, — перестань реветь! Перестань...

— Варвара Афанасьевна! Это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька, открыв рты, глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

— Да, — наконец, выдавил он из себя бессмысленно, Колька, услышав это первое слово, решился спросить.

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да, ты скажи, что ты у них делал.

— Вы знаете, — медленно ответил Бакалейников, — они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всзлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за ва-

лерианкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья, этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

— Бандиты!.. Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

* * *

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгнула черная лента, пересекая город, в мраке на другой стороне. Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.

СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ

I

Бог Ремонт

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах, да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургузых куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим — спецом — выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стен бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то Он меня и мазнул.

Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал:

— Не угодно ли. Погодите, еще годик — не узнаете Москвы. Теперь "мы" (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой "большевистского террора". Именно: его посадили в Бутырки.

За что, совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

— Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) — подлец! Говорит, двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки, действительно, нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что сколько бы спецов ни сажали, остается все же невероятное количество (точная моя статистика: в Москве — 1.000.000, не ме-не-е!) или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный — штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой, было Бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Цельные стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами "Трикотаж".

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие двери в нижних этажах вдруг застекляются. День... два и за стеклами загораются лампы, и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

— Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи — хорошо, а голова — это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по-моему, воля ваша, вижу — Ренессанс.

Московская эпитапеа:

Пою тебе, о бог Ремонт!

II

Гнилая интеллигенция

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну, вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор, — с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравоотделе сказали: "вы свободны", в общежитии студентов-медиков сказали: "ну, теперь вы кончили, так выезжайте", в клиниках, больницах и т.под. учреждениях сказали: "сокращение штатов".

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

— Значит, погиб, — спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. "борьба за существование").

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня "Ирой" рассыпной.

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель — 6 студентов 5-го курса и я...

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давальцы есть.

— Сколько ж ты зарабатываешь?

— Да вот за предыдущую неделю 275 лимончиков.

Я мгновенно сделал перемножение $275 \times 4 = 1$ миллиард сто! В месяц.

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната?

Он хихикнул.

— И комната есть... Оригинально так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: — А вы, позвольте узнать, кто, на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное. Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось!.. Чаем напоила, расспрашивала. А где вы, говорите, живете? А я, говорю, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей Бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился.

— Это, что ж, артистка условие такое поставила?

— Зачем артистка... Хозяева. Одному, говорят, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься.

Я верю, — продолжал я, впадая в лирический тон, — она не пропадет! Выживет.

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы "Ирой" рассыпной: — Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

Москва, ноябрь 1922 г.

III

Сверхъестественный мальчик

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахаринovým ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

— Посольские! Ява!! Мурсал!!! Газетатачкапрокатываетвсех!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы.. Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных лохмотьях и, фальшиво бегая по сытым лицам спекулянтов, не гнусил:

— Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11-12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызганного задачника.

Мальчик шел в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

IV

Триллионер

Отправился я к знакомым нэпманам. Надоело мне бывать у писателей. Богема хороша только у Мюрге — красное вино, барышни... Московская же литературная богема угнетает.

Придешь и — или попросят сесть на ящик, а в ящике — ржавые гвозди, или чаю нет, или чай есть, но сахару нет, или в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами, и сидишь, как на иголках, потому что боишься, что придут — распухших арестовывать и тебя захватят, или (хуже всего) молодые поэты начнут свои стихи читать. Один, потом другой, потом третий... Словом — нестерпимая обстановка.

У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет Молитву девы, диван, "не хотите ли со сливками", никто стихов не читает и т. д.

Единственное неудобство: в зеркальных отражениях маленькая дырка на твоих штанах превращается в дырищу величиной с чайное

блюдечко, и приходится прикрывать ее ладонью, а чай мешать левой рукой. А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит:

— Вы очень милый и интересный, но почему вы не купите себе новые брюки? А заодно и шапку...

После этого "заодно" я подавился чаем и золотушная Молитва девы показалась мне данс макабром.

Но прозвучал звонок и спас меня.

Вошел некто, перед которым все побледнело и даже серебряные ложки съезились и сделались похожими на подержанное фразэ.

На пальце у вошедшего сидело что-то, напоминающее крест на Храме Христа Спасителя на закате.

— Каратов девяносто... Не иначе, как он его с короны снял, — шепнул мне мой сосед — поэт, человек, воспевавший в стихах драгоценные камни, но по своей жестокой бедности не имеющий понятия о том, что такое карат.

По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, по тому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел римский палантин, по тому, как у вошедшего юрко бегали глаза, я догадался, что перед мной всем нэпманам — нэпман, да еще, вероятно, из треста.

Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась Молитва девы на самом интересном месте.

Затем началось оживленное чаепитие, причем нэпман был в центре внимания.

Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман? Я разве не человек?) и решил завязать разговор. И завязал его удачно.

— Сколько вы получаете жалования? — спросил я у обладателя сокровища.

Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта (кривой стоптанный каблук), на левой ногу хозяйки (французский острый каблук).

Но богач не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то.

Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки одесской работы.

— М... м... как вам сказать... Э... пустяки. Два, три милли-

арда, — ответил он, посылая мне с пальца снопы света.

— А сколько стоит ваше бри... — начал я и взвизгнул от боли..

— ... бритье?! — выкрикнул я, не помня себя, вместо "бриллиантовое кольцо".

— Бритье стоит 20 лимонов, — изумленно ответил нэпман, а хозяйка сделала ему глазами: "не обращайтесь внимания. Он идиот".

И мгновенно меня сняли с репертуара. Защебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте.

Во-первых, поэт всплеснул руками и простонал:

— 20 лимонов! Ай, яй, яй! (он брился последний раз в июне).

Во-вторых, сама хозяйка ляпнула что-то несуразно-малое насчет оборотов в тресте.

Нэпман понял, что он находится в компании денежных младенцев, и решил поставить нас на место.

— Приходит ко мне в трест неизвестный человек, — начал он, поблескивая черными глазами, — и говорит: возьму у вас товару на 200 миллиардов. Плачу векселями. Позвольте, — отвечаю я, — вы — лицо частное... э... какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя... А, пожалуйста, — отвечает тот. И вынул книжку своего текущего счета. И как вы думаете, — нэпман победоносно обвел глазами сидящих за столом, — сколько у него оказалось на текущем счету?

— 300 миллиардов? — крикнул поэт (этот проклятый санкюлот не держал в руках больше 50 лимонов).

— 800, — сказала хозяйка.

— 940, — робко пискнул я, убрав ноги под стол.

Нэпман артистически выдержал паузу и сказал:

— Тридцать три триллиона.

Тут я упал в обморок и, что было дальше, не знаю.

Примечание для иностранцев: триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов. 33 триллиона пишут так:

33.000.000.000.000.

Москва, 9 янв.

V

Человек во фраке

Опера Зимина. Гугеноты. Совершенно такие же, как гугеноты 1893 г., гугеноты 1903 г., 1913, наконец, и 1923 г.!

Как раз с 1913 г. я и не видел этих Гугенотов. Первое впечатление — ошалеваешь. Две витых зеленых колонны и бесконечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:

— Гражданин служающий, пива! ("человеков" в Москве еще нет).

В ушах ляпает громовое "Пиф-Паф!!" Марселя, а в мозгу вопрос:

— Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние бурные годы не выперли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в какие-то жабы тона.

Куда там выперли! В партере, в ложах, в ярусах ни клочка места. Взоры сосредоточены на желтых сапогах Марселя. И Марсель, посылая партеру сердитые взгляды, угрожает:

Пощады не ждите,
Она не прийд-е-ет...

Рокочущие низы.

Солисты, посинев под гримом, прорезывают гремющую массу хора и медных. Ползет занавес. Свет. Сразу хочется бутербродов и курить. Первое — невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброды нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе — мыслимо.

У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе — шарканье, гул, пахнет дешевыми духами. Зеленойшая тоска после папиросы.

Все по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые.

Ишь ты, — подумал я, наблюдая, — публика та, да не та...

И только что подумал, как увидел у входа в партер человека. Он был во фраке! Все, честь честью, было на месте. Ослепительный пластрон, давно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!

Он не посрамил бы французской комедии. Первоначально так и подумал: не иностранец ли? От тех всего жди. Но оказался свой.

Гораздо интереснее фрака было лицо его обладателя. Выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича. В глазах его читалось совершенно явственно:

— Да-с, фрак. Выкуси. Никто не имеет мне права слово сказать. Декрета насчет фраков нету.

И, действительно, никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал. И стоял он незыблемо, как скала, омываемая пиджачным и френчным потоком.

Фрак этот до того меня заинтриговал, что я даже оперы не дослушал.

В голове моей вопрос:

Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость в Москве среди френчей 1923 г., или фрачник представляет собой некий живой сигнал:

— Выкуси. Через полгода все оденемся во фраки.

Вы думаете, что, можеь быть, это праздный вопрос? Не скажите...

VI

Биомеханическая глава

*Зови меня вандалом,
Я это имя заслужил.*

Признаюсь: прежде чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что "Гугеноты" и "Риголетто" перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был И. Эренбург, написавший книгу "А все-таки она вертится", и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня "мещанином".

Неприятно, когда это слово тычет в глаза, и я пошел, будь они прокляты! Пошел в театр Гитис на "Великодушного рогоносца" в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом все, что угодно, кроме средства нажать новую хорошую неврастению, тем более, что в Москве есть десятки возможностей нажать ее без затраты на театральные билеты.

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами:

В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине — голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами "с ч" и "т е". Театральные плотники, как дбама, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет.

Когда же оно начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем и женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчин ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждной юбкой.

— Это биомеханика, — пояснил мне приятель. Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными salto!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

— Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомехануть его по уху.

— Вы опоздали родиться, — сказал мне футурист.

Нет, это Мейерхольд поспешил родиться.

— Мейерхольд — гений!! — завывал футурист. Не спорю. Очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забы-

ваать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр.

— Искусство будущего!! — налетали на меня с кулаками.

А если будущего, то пускай, пожалуйста, Мейерхольд умрет и воскреснет в XXI веке. От этого выиграют все и, прежде всего, он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами, он сам получит удовлетворение гения, а я буду в могиле, мне не будут сниться деревянные вертушки.

Вообще к черту эту механику. Я устал.

VII

Ярон

Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени к графу Лрксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово биомеханика, и ккогда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ярона, как во-круг стержня, я понял, что значит настоящая буффонада.

Грим! Жесты! В зале гул и гром! И нельзя не хохотать. Немыслимо.

Бескорыстная реклама Ярону, верьте совести: исключительный талант.

VIII

Во что обходится курение

Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка.

Так, например, нэпман, о котором я расскажу, познакомился с новым порядком в коридоре плацкартного вагона на станции Николаевской железной дороги.

Он был в общем благодушный человек и единственно, что выводило его из себя, это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте — спокойно. О сале — спокойно. О театре — спокойно. О большевиках — слона. Я думаю, что если бы

маленькую порцию этой слюны впрыснуть кролику — кролик издох бы во мгновение ока. 2-х граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе.

Слюны же у нэпмана было много, потому что он курил.

И когда он залез в вагон со своим твердым чемоданом и огляделся, презрительная усмешка исказила его выразительное лицо. — Гм... подумаешь, — заговорил он... или вернее не заговорил, а как-то заскрипел, — свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было все это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам.

И все им опять заплует!

И в тоске и отчаянии швырнул окурок на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся — словно из стены вырос) появился некто с квитанционной книжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:

— Тридцать миллионов.

Не берусь описать лицо нэпмана. Я боялся, что его хватит удар.

* * *

Вон она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите "bolsheviki", "bolsheviki"! Люблю порядок.

* * *

Прихожу в театр. Давно не был. И всюду висят плакаты "курить строго воспрещается". И думаю я, что за чудеса: никто под этими плакатами не курит. Чем это объясняется? Объяснилось это очень просто, так же как и в вагоне. Лишь только некий с черной бородкой — прочитав плакат — сладко затаился два раза, как вырос молодой человек симпатичной, но непреклонной наружности и:

— Двадцать миллионов.

Негодованием черной бородки не было предела.

Она не пожелала платить. Я ждал взрыва со стороны симпатичного молодого человека, игравшего благодушно квитанциями. Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!) из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было Гофманское не-

что. Милиционер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой.

И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая изящная винтовка, отошел в сторону и "добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице" (так пишут молодые барышни революционные романы).

Случай с черной бородкой так подействовал на мою впечатлительную душу (у меня есть подозрение, что и не только на мою), что теперь, куда бы я ни пришел, прежде чем взяться за портсигар, я тревожно осматриваю стены — нет ли на них какой-нибудь впечатной каверзы. И ежели плакат "строго воспрещается", подмигивающий русского человека на курение и плевки, то я ни курить, ни плевать не стану ни за что.

IX

Золотой век

Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что "все образуется" и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой Век уже наступил. Мне поочему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, симптомы которого так ясно начали проступать в столь незначительных, казалось бы, явлениях, как все эти некурительные и неплеватательные события, пустит окончательные корни.

Гум с тысячами огней и гладко выбритыми приказчиками, блестящие швейцары в государственных магазинах на Петровке и Кузнецком, "верхнее платье снимать обязательно" и т.под. — это великолепные ступени на лестнице, ведущей в Рай, но еще не самый Рай.

Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногшибательных фильм, но весьма возможно, что

просто напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе.

Боюсь, что мысль моя покажется дикой и непонятной утонченным европейцам, а то я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и проч., что уже, несомненно, означает Рай.

И миленькая надежда у меня закопошилась в сердце после того, как на Тверской меня чуть не сшибла с ног туча баб и мальчишек, с лотками летевших куда-то с воплями:

— Дунька! Ходу! Он идет!!

"Он" оказался, как я и предполагал, воплощением в сером, но уже не укоризны, а ярости.

Граждане, это священная ярость. Я приветствую ее.

Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и все к черту.

Х

Красная палочка

Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску.

Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты — чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя — московские нищие! Родился НЭП в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом, и сел на всех перекрестках, занял у подъездов, заковылял по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба!

Клянусь — неграмотная!

Я сам лично подошел к будке. Спросил "Россию", она мне подала "Корабль" (похож шрифт!). Не то. Баба заметалась в будке. Подала другое. Не то.

— Да что вы, неграмотная?! (это я иронически спросил).

! Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба, д е й с т -
в и т е л ь н о , н е г р а м о т н а я .

* * *

! Москва — котел: в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Дунк и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организационный скелет.

В отчаянии от бабы с "Кораблем" в руках, в отчаянии от зверских извозчиков, поминающих коллективную нашу мамашу, я кинулся в Столешников переулочек и на скрещении его с Большой Дмитровкой увидал этих самых извозчиков. На скрещении было, очевидно, какое-то препятствие. Вереница бородачей на козлах была неподвижна. Я был поражен. Почему же не гремит ругань? Почему не вырываются вперед пылкие извозчики?

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка и он застыл, подняв ее вверх.

Но лица извозчиков! На них было сияние, как на Пасху.

И когда милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже несвойственное констэблям и шуцманам лаасковое:

— Давай! —

извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных.

* * *

В порядке дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной.

ЧАША ЖИЗНИ

Веселый московский рассказ с печальным концом

Истинно, как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходят — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем не доха, шапка — не шапка! Вот, сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь, — говорит, — наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят то что делаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты, — кричит, — обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хватить у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я — интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Василь-

ич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают! Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки — и в первую дверь. А на двери написано: "и подача вин". Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник и, как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толшиной. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы и пошли. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот, сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь.

Тот в момент рулем крутанул и полетели мы как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раз хрюкнул, как свинья:

— Хрр... Хрю... Хрю...

И что же вы думаете! На это самое "хрю" — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто — лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый, и грянул:

— Долой портвейны эти! Желая пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоём Центросоюзе.

Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А в тресте я царь и бог! А трестовый его приятель гаркнул "верно!" и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что, — кричит, — ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-и м-и-л-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнул Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери займы! Прозябаешь ты в своём Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропьет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Слово, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И кэк уоком к двери. А лакеи впереди понесли и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. Начисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — Боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хватать. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чай выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь босиком спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету, — узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то — это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза... И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот хладнокровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью "комендатура". Тут и осмелился я спросить.

— Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаб: его чуть ли не по семи статьям... тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растрата! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он — негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов. И кроме того, что было... Даже странно.. И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед — 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва и хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу!..

СОРОК СОРОКОВ

*Решительно скажу: едва
Другая сищется столица, как Москва.*

Панорама первая: Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва — мать, Москва — родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать — и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие "чижиков", трудгужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при

первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смерю вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я — закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска "Распределитель № ...". Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:

— Заперто... заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

Панорама вторая: Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездиновском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло поднимается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу сквозь тонкую завесу тумана подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные

пространства. — Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — Нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертово слово! — ответил я, — это вовсе не Нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не "получил" ботинки, а "купил" их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занято и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет Нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла; в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922-го года.

Панорама третья: На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, впереводку, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймля-

ющей верхнюю, при набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей девицей в сарафане, пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпбалось каскадами.

— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами, — бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

— Бис! — кричал нэпман, потопотал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли сна-

ряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

Панорама четвертая: Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронте бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд. Другой такой: в излюбленный час театральной музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах в свете золотым и красным сияет Театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действия нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, — сложив руки рупором:

— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. Мюр и Мерелиз, лишь чуть начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых

огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: "Государственный универсальный магазин". В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки то гаснут, то вспыхивают: "сегодня банкноты 251". В Столешниковом на экране корявые строчки: "Почему мы советуем покупать ботинки только в ...". На Страстной площади на крыше экран — объявления то цветные, то черные вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет "Реклама".

Все больше и больше этих зыбких цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливаается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение а gіоgпо. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь и ночью, не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхая цепями, ползут по разъезженному рыхлому бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке в круговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к Метрополю. Мутные стекла в первом этаже Метрополя просветлили, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар. Госкино II. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: крестьянский суп. В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева-Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их

симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в Гуме лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки "натуральной" польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
 Польку танцевать с тобой
 С-с-с-с-с-лышу, с-с-с-лышу с-с-с...
 ... Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают "Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом", десятки диспутов, лекций, концертов. Судят "Санина", судят "Яму" Куприна, судят "Отца Сергия", играют без дирижера Вагнера, ставят "Землю дыбом" с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роут, возят доски, там скрипят тачки — готовят всероссийскую выставку:

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок-сороков на семи холмах, как дышит. блеснит Москва. Москва — мать.

Москва, март 1923 г.

ПОД СТЕКЛЯНЫМ НЕБОМ

Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой вытертым мехом, с небольшим мешочком в руках. Физиономия, словно пчелами искусанная, и между толстыми губами жеваная папироска.

Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность. Самогонный нос. Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения. Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру.

— Что продаешь?

— Облигацию... — ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация.

— Почему? — жулябины глаза ввинтились в облигацию.

— Сто десять бы... — квакнул, заикнувшись, курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухшем лице.

— Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу, — заговорила жулябия, — за лицо тебе предлагаю: девяносто рубликов. Желаеть? Другому бы не дала. Но ты мне понравился.

У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина, ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в жулябинных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком.

— По рукам? — стремительно произвела второй натиск жулябия.

— Да как же... Господи, — ведь давали-то нам по 125...

— Чудак! Давали! Дать и я тебе дам за 125. Хоть сию минуту. Ты, брат, не забывай, что давать — это одно, а брать — совсем другое.

— Да ведь они в мае 200 будут...

— Это резонно! — победно рявкнула жулябия, — так вот, даю тебе совет: держи ее до мая!

И тут жулябия круто вильнула на 180° и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому жулябия круто сыграла назад.

— Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал, даю тебе еще два рублика. Мой трамвай. Исключительно потому, что ты — хороший человек.

— Давайте! — пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок.

* * *

В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов — бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность — "попурри из русских песен", от которой вянут уши.

Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать:

— Куплю доллары, продам доллары.

— Куплю займ, банкноты куплю.

И чаще всего, таинственнее, настороженнее.

— Куплю золото. Продам золото...

— Золото... золото... золото... золото...

Золота не видно, золота не слышно, но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови.

Выныривает в куцей куртке валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу вбок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка.

Из недр куцега пальто словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото.

Фигура вертит в руках, озираясь, золотушку с царским портретом.

— А она, того... хорошая?

Куцее пальто презрительно фыркает:

— Здесь не Сухаревка. Я их сам не делаю.

Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Куцее пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся. И снова непрерывное кружение у фонтана. И шепот, шепот... золото... золо... зо...

* * *

Один из коридоров рядов загорожен. У загородки сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже, пожалуйста билет за 40 лимонов. Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в какой мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана! А если люди бормочут словно во сне? Опять-таки никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже ни к кому не обращаясь:

— Куплю мелкое серебро... Куплю мелкое серебро...

Мало ли оригиналов!..

Среди сомнабулических джентльменов появляются дамы салонного вида с тревожными глазами. Жены чиновников — случайные валютчицы. Или пришли продать золотушки, что на черный день хранились в штопаных носках в комодке, или, обуреваемые жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет... растет... Золото... золото...

— Золото, Марь'Иванна, надо купить. Это дело верное.

Марь'Иванна жметя в темный угол в рядах. Марь'Иванна звякнет монеткой об пол.

— А она не обтертая?

— Вы, мадам... — обижается валютчик, — довольно странно с вашей стороны, мадам!

— Ну, ну, вы не обижайтесь! Да вот царь тут какой-то странный. Выражение лица у него...

— Я, мадам, ему выражения лица не делал. Обыкновенное выражение.

Марь'Иванна торопливо вытаскивает из сумочки скомканые бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки.

В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные и бледные ночные бабочки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку, покупатели в бесчисленные магазины Гума в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галлерях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками, с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами, темные восточ-

ные, западные и южные люди. Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые. Медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота, золота, золота. Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклеивают.

* * *

В пять часов дня. Когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний, стеклянный свет, в галлереях светло, гулко. В окнах магазинов горят лампы. На углу у фонтана в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях-самоцветах. Из кафе пахнет жареным. Лотереи-аллегри с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют.

Но вот сверлит свисток. Конец черной бирже на сегодняшний день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей бирже, что торгует шепотом и озираясь. Еще шелестит то-ропливо.

— Золото... золото.

Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх. Но уже редет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто. Пустеют коридоры. Звонко стучат шаги. Ближе весенний вечер, и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.

Москва, апрель 1923

МОСКОВСКИЕ СЦЕНЫ

I

На передовых позициях

— Ну-с, господа, прошу вас, — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин — бывший присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а мне просто Зинаида Ивановна, и гость — я — бывший.. Впрочем, это все равно... мне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рамках.

— Вот и весна, слава Богу; измучились с этой зимой, — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, в миг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его кильчным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

— Не слабо ли... кхм... разбавил? — заботливо осведомился хозяин.

— Самый раз, — ответил я, переводя дух.

— Немножко, как будто, слабовато, — отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна и борода Карла Маркса, помещавшаяся прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж чудовищно огромна, как это приня-

то думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидевшего его всей душой, — такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым делом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просушил толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

Могут не топить парового, бандиты, — и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгнула — сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них, как в двух, было невозможно, тем более, что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

— Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

— Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему — юрисконсульту такого-то учреждения — полагается "добавочная площадь". На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин, стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения кварти-

ры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он наклеил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных моллю, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвали в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что Нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Л. Троцкого. Троцкий был изображен en face, в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель Реввоенсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кухни. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

— Эт-того не доставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

— Зин... при чем здесь Мара... — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

— У вас тут комнаты... — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег элек-

тричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

— Что вы, товарищи!! — ахнул хозяин и всплеснул руками, — какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хотя и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, — хозяин вытащил из кармана бумажку, — мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13 $\frac{1}{2}$. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2 $\frac{1}{2}$ аршина?

— Ну, мы посмотрим, — мрачно сказал второй серый.

— П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал А.В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

— Тут кто? — спросил первый серый, указывая на кровать.

— Товарищ Епишина Александра Ивановна.

— Она кто?

— Техническая работница, — сладко улыбаясь, ответил хозяин, — стиркой занимается.

— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся.

— Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы прислуга! Хи-хи!

— Тут? — лаконический спросил черный, указывая на дыру в кабинете.

— Добавочная, 13 $\frac{1}{2}$, под конторой моего учреждения, — скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой об велосипедную цепь.

— Вот видите, товарищи, — зловеще сказал хозяин, — я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

— Не ушиблись ли вы? — испуганно спросил хозяин.

— А... бу... бу... ту... ту... ма... — невнятно пробурчал что-то черный.

— Тут товарищ Настурцына, — водил и показывал хозяин, — тут я, — и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарас-

тало на лицах трех. — А тут товарищ Щербовский, — и торжественно он махнул рукой на Л.Д. Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

— Да он что, партийный, что ли? — спросил второй серый.

— Он не партийный, — сладко ухмыльнулся хозяин, — но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

— Ответственные, сочувствующие, — хмуро забубнил черный, потирая колено, — а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

— Рос-ко-ши?! — укоризненно ахнул хозяин, — что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. — Тут хозяин полез в карман за ключем и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

— Белье, товарищи, — предмет чистоты. И наши дорогие вожди, — хозяин обеими руками указал на портреты, — все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

— Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь... вот кухня — холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать — эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это нужно обратиться, чтобы мне еще одну комнату дали в этом доме? Под контору?

— Идем, Степан, — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

— Вот, любуйтесь, — вскричал он, — и это каждый Божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

— Ну, знаете ли, — ответил я, — это неизвестно, кто кого доконает!

— Хи-хи! — хихикнул хозяин и весело грянул: — Саша! Давай самовар!..

Такова была история портретов и в частности Маркса. Но возвращаясь к рассказу.

... После супа мы съели беф-Строганов, выпили по стаканчику белого "Ай-Даниля" винделправления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

— Маргарита Михална, наверно, — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

— Да... да... — послышалось из кабинета, но через три мгновения из кабинета донесся вопль:

— Как?!

Глухо заквакала трубка, и опять вопль:

— Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

— А-а! — ахнула кузина, — уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

— Обложили? — крикнула кузина.

— Поздравляю, — бешено ответил хозяин, — обложили вас, дорогая!

— Как?! — кузина встала вся в пятнах, — они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

— Говорила, говорила! — передразнил хозяин, — не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты! — повернулся он к кузену, — просил ведь, сходи, сходи! А теперь, не угодно ли: он нас всех трех пометил!

— Ду-рак ты, — ответил кузен, наливаясь кровью, — при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

— Сволочь он, а не знакомый! — загремел хозяин, — называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять!

— На сколько? — крикнула кузина,

— На пять-с!

— А почему только меня? — спросила кузина.

— Не беспокойся! — саркастически ответил хозяин, — дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только, если тебя на пять, то на сколько же они меня шарахнут?! Ну, вот что — расслаживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору — объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

— Что ж это такое? — горестно завопил хозяин, — ведь это ни отдыху, ни сроку не дадут. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

— Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

От нашего московского корреспондента

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Стоговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой — шины полтора миллиарда! Первое мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда "не соответствует". А чему, неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний, благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл "триллиардами" и плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа кентерберийского.

И вот дба. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня "Известий", месяц в руках не держал. На первой же полосе — "Убийство Воровского!"

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента,

а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат "Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии". Потом красный "Не шутите с огнем, господин Керзон". "Порох держим сухим".

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичем. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покотился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

Да здрав-ству-ет Крас-на-я ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли "Интернационал", Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русский:

— Долой Керзона!!

А напротив на балкончике под обелиском свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

... британский лев вой!
 Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-во! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибалась к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клякастое лицо!!.. Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: "Нота", затем гигантский картонный кукиш с надписью: "А вот наш ответ".

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: "Вот плоды политики Керзона". Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотках, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральным бань. На Неглинном было свободно.

Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: "... всех стран соеди..."

Из корзины пилоты выбрасывали листы ленточек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

Москва, 12 мая 1923 г.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Скорый № 7: Москва — Одесса

О т ъ е з д

Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятой, липкой и тяжелой ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят, нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неопиcуемый вокзал. Карманников мало, и одеты они все по-европейски. Носильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет теперь можно купить за день в Метрополе (очередь 5-6 человек!), а можно и по телефону его заказать. И вам его на дом пришлют.

Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук тридцать женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел.

Боже мой! Неужели же вся эта чистота, простор и спокойствие — обман?! Боже мой! Распахнутся двери, взвоют дети, посыпятся стекла, "свистнут" бумажник... Кошмар! Посадка! Кошмар.

Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня:

— Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ничего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут придете и сядете в вагон.

Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осматривать вокзал.

Минута в минуту — 10 ч. 20 м. — мимо состава мелькнула красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез застек-

ленный гигантский купол, и мимо окон побежали трубы, вагоны, поздний апрельский снег.

В п у т и

Это черт знает что такое! Хуже вокзала. Купе на два места. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Проводник пришел, отобрал билет и плацкарту и выдал квитанцию. В дверь постучали. Вежливости неопишуемой человек в кожаной тужурке спросил:

— Завтракать будете?

— О, да! Я буду завтракать!

А вот гармоник предохранительных между вагонами нет. Из вагона в вагон, через мотающиеся в беге площадки, в предпоследний вагон — ресторан. Огромные стекла, пол сплошь закрыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает, и при входе сразу охватывает истома.

Стелется синеватый, слоистый дым над столами, а мимо в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами снега, обнаженные ветви, рощи, опять поля.

И опять домой, к себе в вагон через "жесткие", бывшие третьеклассные вагоны. В купе та же истома, от трубы под окном веет теплом — проводник затопил.

Вечером после второго путешествия в ресторан и возвращений начинает темнеть. Как будто меньше снегу на полях. Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются нити, звучат голоса в коридоре. Слышны слова "банкнот", "безбожник". Мелькают пестрые листы журналов, и часто проходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башмаках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит недолго, несколько минут. И опять и опять мотает вагоны, сильнее идет тепло от труб.

Ночью стихает мягкий вагон, в купе раздеваются, не слышно сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле и сне уходят сотни верст, Брянск, Конотоп, Бахмач.

Утром становится ясно: снегу здесь нет и здесь тепло.

В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него

два бочоночка с солеными огурцами.

— Пятнадцать лимонов! — пищит мальчишка.

— Давай их сюда! — радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное. Лицо его искажается, он проваливается сквозь землю.

— Сумасшедший! — недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и тоже в корчах исчезает.

Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идет непреклонный страж в кавалерийской шинели до пят и раздраженно бормочет:

— Вот чертовы бабы!

Потом обращается к пассажирам:

— Граждане! Не нарушайте правил. Не покупайте у вагона. Вон — лавка!

Пассажиры устремляются в погоню за нежинскими огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением таковых.

Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из-за дарницких лесов Днепр, поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами, и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России — Киев.

Под обрывами разбегаются заржавевшие пути. Начинают тянуться бесконечные и побитые в трепке войны составы классные и товарные. Мелькает смутная стертая надпись на паровозе "Пролетар"...

Пробегают здание, и на нем надпись — Київ II.

Апрель

КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных недостроенных банях на Шалобовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. Головы были разможены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая — всегда умелая и аккуратная — руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть.

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей.

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно — так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность — извозчик. 22 трупа уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно — извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров, ни встреч. В этом отношении дело, действительно, исключительное.

Итак — извозчик. Трупы в Замоскворечьи, опять в Замоскворечьи, опять. Убийца — извозчик, живет в Замоскворечьи.

Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные, стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей разможенную голову. Петля сразу сузилась — искали

семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли.

Василий Иванович Комаров, легкой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно — почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агентура с ордером окружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании за чем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый.

* * *

Пока шло следствие, Москва гудела словом "Комаров-извозчик". Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями и т. д.

Все это, конечно, вздор.

Но та сушая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней, или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек — Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия, вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это не важно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников — услав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом "человек-зверь". Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие "зверства", и утвердилась у меня другая формула "и не зверь, но и ни в коем случае не человек".

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

* * *

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека — не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту — психиатру черты и есть, но на обыкновенный взгляд — пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим) мне стало понятно, что это значит, — "не человек".

Когда его первая жена отравились, оно — это существо — сказа-
ло: — Ну, и черт с ней!

Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось
даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

— Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (смешок).

— Раз и квас! (на вопрос, как убивал. Смешок).

— Хрен его знает! (на многие вопросы эта идиотская поговорка.
Смешок).

— Человечиной не кормили ваших поросят?

— Нет (хи-хи!)... да если б кормил, я бы больше поросят за-
вел... (хи-хи!).

Дальше — больше. Все в жизни — этот залихватский, гнусный
"хрен", сопровождаемый хихиканием. Оказывается, людей кругом
нет. Есть "чудаки" и "хомуты". Презирает. Какая тут "звери-
ность"! Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы
оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Со-
баку — животное можно было бы замучить этим из ряда выходящим
невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена
его — "римско-католическая пани" (хи-хи). "Много кушает". Ни
злости, ни скупости. "Пусть кушает возле меня эта римско-католи-
ческая рвань". Злости нет, но "оплеухи иногда я ей давал". Детей
бил "для науки".

— Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-
вторых, вот "не любил людей". Вот, бывают такие животные, что
убить его — двойная прибыль: и польза, и сознание, что изба-
вишься от созерцания неприятного Божьего создания. Гусеница,
скажем, или змея... Так Комарову — люди.

Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое,
холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне лю-
дей.

Жуткий ореол "человека-зверя" исчез. Страшного не было. Но
необычайно отталкивающее.

* * *

Изъять. Он боялся? Нет. Он — сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку
даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усме-

шечкой. Интересуетесь? Извольте. "Цыганку бы убить или попа"... Зачем? "Да так"...

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа: так — насели с вопросами "чудаки", он и говорит первое, что взбредет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. "Э... все поколеем!".

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу, ни к городу, мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отправленные большими городами.

Что касается силы.

В одну из ночей, не знаю, после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

— Что везешь?

— А ты, дурной, — мягко ответил Комаров, — пощупай. Милиционер был действительно "дурной". Он потрогал мешок и пропустил Комарова. Потом Комаров стал ездить с женой.

* * *

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Домниковке, на Смоленском приходилось видать такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то не договаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрывала. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогала временами — прибрать, замыть после работы. Дело — женское. Ну, и вот эти поездки.

"Так... дурочка... слабая" — определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой "римско-католической" бабой висела камнем воля мужа.

* * *

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь — хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор — "сварить живьем".

— Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын.

На суде три психиатра смотрели:

— Совершенно нормален. Софья — тоже.

Значит...

— Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности.

Не дай Бог походить на покойных отца и мать.



КИЕВ — ГОРОД

Экскурс в область истории

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...

... И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно, и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

— Депутат Бубликов.

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто узьсовская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и клокотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в окружности 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная

книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917 — 1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

— Вата!

Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными, туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:

— Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по-писанному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И по сейчас из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение.

Status praesens

Сказать, что "Печерска нет", это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот, вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

— Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то выложенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов.

Эх, жемчужина — Киев! Беспокойное ты место!..

Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.

Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами — великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите искорверканые трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бой с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке.

В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят ее только птички переклики да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков скамеек. Больше того: воздушный мост — стрелой перекинутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней щепочки разнесли настил киевляне на дрова. Остался только железный остов, по которому, рискуя своей драгоценной жизнью, мальчики пробираются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, у бывш. Царской площади в начале Крещатика вместо огромного семиэтажного дома стоит обугленный скелет. Интересно, что самое бурное время дом пережил и пропал на хозрасчете. По точному свидетельству туземцев, дело произошло так. Было в этом здании учреждение хозяйственно-продовольственного типа. И был, как полагается, заведующий. И, как полагается, дозаведывался он до того, что или самому ему пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий и начал вертеться между медными касками. И словно заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, лазили по лестницам, и ничего не вышло — не отстояли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне — народ правдивый, и все в один голос рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, все-таки основной факт налицо — дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если все будет, даст Бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай.

Достопримечательности

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо.

Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но, тем не менее, киевские вывески необходимо переписать.

Нельзя же, в самом деле, отбить в слове "гомеопатическая" букву "я" и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: "голярня", "перукарня", "цирульня" или просто-напросто "парикмахерская"!

Мне кажется, что из четырех слов — "молошна", "молочна", "молочарня" и "молошная" — самым подходящим будет пятое — молочная.

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав — можно установить единообразие. По-украински, так по-украински. Но правильно и всюду одинаково.

А то, что, например, значит "С. М. Р. іхел"? Я думал, что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно отчетливы точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:

— Чтоб я так жил, как я это знаю.

Что такое "Кагасік" — это понятно, означает "Портной Карасик"; "Дитячій притулок" — понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод: "Детский сад", но "смеріхел" непонятен еще более, чем "Коуту всеро-компама" и еще более ошеломляющ, чем "ідальня".

Население: Нравы и обычаи

Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне — тихие, медленные и без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат пред-

ложить ему чаю, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огни, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино, или "Эрмитаж" с цыганскими хорами, или московские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармониками поют песню о разбойнике Кудеяре:

... "Господу Богу помолимся"..., что такое движение в Москве, как Мейерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой и Кенигсбергом, или какие хваты сидят в трестах и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так непохож на московский, что киевлянам все это непонятно.

Киев стихает к полуночи. На утро чиновники идут на службу в свои всерокомпы, а жены нянчат ребят, а свояченицы, чудом не сокращенные, напудрив носы, отправляются служить в "Ару".

"Ара" — солнце, вокруг которого, как земля, ходит Киев. Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в Аре (1-й сорт людей), счастливцев, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт) и чернь, не имеющую к "Аре" никакого отношения.

Женитьба заведующего "Арой" (пятая по счету) — событие, о котором говорят все. Ободранное здание бывшей Европейской гостиницы, возле которого стоят киевские джинрикши, — великий храм, набитый салом, хинином и банками с надписью "Evaporated milk".

И вот кончается все это. "Ара" в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между свояченицами стоит скрежет зубовой. И в самом деле, что будет — неизвестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь изо всех щелей, управляющий домом угрожает ремонтом парового отопления и носится с каким-то листом, в котором написано "смета в золотом исчислении".

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они гораздо беднее москвичей. И, сократившись, куда сунется киевская барышня? Плацдарм маленький, и всекомпомов на всех не хватит.

Аскетизм

Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянь), но не выпирают нагло "Эрмитажи", не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись "Абрау-Дюрсо".

Слухи

Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам, оставшихся не при чем. Буйные боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загранице, из которой не знают, как обратно выбраться, или "сокращены по штату". Никаким компомам старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтоб в нем были деньги. Старушкам, действительно, не вмоготу, и живут они в странном состоянии: им кажется, что все происходящее — сон. Во сне они видят сон другой — желанную, чаемую действительность. В их головах рождаются картины...

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается "обман". Но так как человек без информации немислим на земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их близость к местам, где зарождались всякие Тютюники и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с евбаза, они не видят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу). Папа римский заявил, что если "это не прекратится", то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный...

В конце концов, пришлось плюнуть и не разуберять.

Три церкви

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку:

— Живые попы.

Более меткого прозвища я не слышал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной организации — попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живости, но, наоборот, медлительны, растерянны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая — старую и автокефальную. автокефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом никто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса — дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины, служат старье по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько

они молятся, сколько тихо анафематствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные, — я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — виноват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквях, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

— Прочти, — сказала она, — и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 г. не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественным шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я никто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осрамив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были — старые, живые или же автокефальные.

Наука, литература и искусство

Нет.

Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, нежно говорила:

— Дядя Карла. Цёрный.

Финал

Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных гроыхавших лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет.

САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ

Из моей коллекции

Все правда, за исключением последнего: "прогрессивный аппетит".

1. В волнах азарта

Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа:

Гражданину директору казино.
Капельмейстера 3.

Заявление.

Имею честь заявить, что в Вашем уважаемом Монако я проиграл: бесценные мои наследственные золотые часы, пять тысяч рублей дензнаками 23 г. и 16 инструментов вверенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа.

Ввиду того, что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три тысячи.

На заявлении почерком ошеломленного человека написано: "Выдать".

2. Средство от застенчивости

Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:

Товарищ редактор,

пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика, как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и ободрав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб.

Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содомом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно.

3. Сколько Брокгауза может вынести организм

В провинциальном городишке В. лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекаря существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения "обо всем решительно" имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы А.

Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской гримзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, "много ли осталось"? В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В., у входа в мастерские Бана, Абуль Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего "Тальме-Амаль-Аль-Хисоп", догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло от 2-х визитов в молчании бессонной ночи — сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкаса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бьюмас, Боньер-де-Бигир и через два Боньякавало, человека и город.

Крах произошел на самом простом слове "Барановские". Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря:
— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав и, хоть убей, — не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело. Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан. Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть 2 Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обружал его безголовым молюском и барсучьей шкурой.

4. Иностранное слово "мотивировать"

На Н... заводе в провинции нэпман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале.

Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока, наконец, не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая "заплатить последнее", лишь бы его напечатать.

Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе:

"Не знаю, как Вас и благодарить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдание своих доводов, как кляузника".

5. "Работа среди женщин"

Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительного.

— Как, товарищ, у вас работа среди женщин? — скороговоркой грянул столичный, типа — Time is money.

— Ничего, — добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, — у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу.

6. Р. У. Р.

— Мы вам не Рур, — было написано на плакате.

— Российское Управление Романовых, — прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия.

7. Курская аномалия

— А много ее, действительно, — спросил квартхоз, возвращая мне газету, — или так, очки втирают? Ежели много, можно было бы англичанам продать...

— Вот именно, — согласился я, — пускай подавятся!

8. Прогрессивный аппетит

Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов. Срок 10-го числа в 4 час. дня. Он 9-го утром принес деньги и не протестовал и не подавал заявлений. Молча уплатил.

— Мы его мало обложили, — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 час. дня.

14-го в 10 ч. утра принес.

— Эге-ге! — сказал инспектор.

Обложили в триллион. 20-го, 4 час. дня.

20-го в 4 час. дня обложенный привез на ломовике печатный станок.

— Печатайте сами, — сказал он растерянно.

Анекдот сочинен московскими нэпманами, изъязвленными налогом.

САМОГОННОЕ ОЗЕРО

Повествование

В десять часов вечера под Светлое Воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ею сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. 0, миг блаженный, светлый час...

... И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермата) сменилась речитативом:

— Так-то, — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами, — Христос Воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50, Василий Иванович, криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

— Иван Гаврилович! Побойся Бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под Светлое Христово Воскресение! Иван Гаврилович, приходи в себя!

Я опомнился первый и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь "неизвестно какими делами", и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я заведу себе "своих Шурок" и ем их с кашей. "Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка", — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст "заявку" в правление, чтобы меня выселили. "Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные".

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки выве-

ли на лестницу. Незвестный шел багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (*atropa belladonna*).

Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:

— Пошел мой сукин сын (читай квартхоз — муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди, как люди, а они наакались, прости Господи мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, Господь его ведает!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:

— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч. Глава дома и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иваныч после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. "Так я ж ей покажу").

Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:

— Ладно. Я ее завтра зарезу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами:

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь-самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: — если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Си-

доряча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс... гражданин журн... лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. —

— Я к вам.

— Очень приятно.

— Я насчет эсперанто...

— ?

— Заметку бы написа... статью... Желая открыть общество...

Так и написать. Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съезжился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем... извин... с... я завтра.

— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.

— Нет, детка, нельзя.

Утром, в девять, праздник начался мотлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна), и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре).

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желая арестовать.

— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова.

— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас са-могон? Иди-ка лучше — проспись. Завтра подашь заявление, кото-рые с самогоном.

— Тэк-с... понимаем, — сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иванович. — Стало быть, управы на их нету? Пуцай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.

Четверть оказалась "с явно выраженным запахом сивушных масел".

— Веди! — сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.

Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

— Сбегай к Сидоровне за четвертью.

— Очнись, окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна, — Си-доровну закрыли.

— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна яви-лась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источ-ник у Макеича, через два дома от Сидоровны. В 7 час. вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга — пекарня Володи. ("Не смей бить!!" "Моя жена" и т. д.).

В 8 час. вечера, когда грянул лихой мотлот и заплясала Аннуш-ка, жена встала с дивана и сказала:

— Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

— Детка, — ответил я в отчаянии, — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четы-ре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным.

Я ответил, и голос мой был полон металла:

— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что

от него небу станет жарко.

Затем помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.

Заклучение

У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы, если не полностью, то на 90 %.

Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне — квартиру в три комнаты с кухней и одновременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене в случае, если меня убьют.

Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедленно. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.

Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром "Уголков", "Цветков Грузии", "Замков Тамары" и т. под. мест.

Москва станет, как Сахара, и в оазисах под электрическим вывесками: "Торговля до 12 час. ночи" будет только легкое красное и белое вино.

Москва, 1923 г.

ШАНСОН Д'ЭТЭ

Дождливая интродукция

Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово "очень" следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полтора часовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубинового яйца.

По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочья, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия: за 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того, можно было видеть мужчин, ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов.

В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили:

— Ну, слава богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было...

На Тверскую и Театральную площадь въезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозодежде (брезентовое пальто и брезентовый же шлем). Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частые отверстия сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина.

Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет: чтобы полить Театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек при условии, если они будут ездить карьером.

Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стекла, и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинном утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из

кафе "Риш", извозчи́чи клячи бесились от сего́го града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обоз исчез и дождь принял нормальные формы.

Но если обоз опять появится на Театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы да ляжет на него.

Разноцветные грибы

Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещенных красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицы и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах они имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще.

Ревущие, воющие, крякающие машины в количестве 3 ¹/₂ тысяч бегут по Москве и на всех перекрестках кокетливо-европейски объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках.

Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский Совет в каких-нибудь 5-6 дней гениальным и простым установлением 50-рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно из-под земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян.

Наиболее строптивые платили не 50, а пятьсот, и уже не на месте прыжка, а в милиции.

Позвольте прикурить

Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубянке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того, чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по Театральному поезду и получил еще три отказа.

При слове:

— Позвольте прикурить, —

граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с Мюром, причем давший прикурить озирался, как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание: бездельники задерживают спешащих на службу совработников.

Чистосердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в "Известиях", в которой московские жители именовались "обывателями". Но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал.

Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные: с черными головами. Молодые люди мужского и женского пола в кепи точь-в-точь таких, в каких бывают мальчишки-портье на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кепи золотая надпись: "Моссельпром".

Итак, Моссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великолепная, тем более, что черноголовые, оказывается, безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки. Поэтому очень часто на животе лоток, а на лотке "Исторический материализм" Бухарина. "Исторический материализм", спору нет — книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал, приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, потому что приставать с требованием сличек к юноше, занятому чтением, — хамство. Может быть, он к экзамену готовится?

Я бы на этих лотках написал золотом:

"Книжке — время, а торговле — час".

Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время красных кирпичных стен.

Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На

выставке выросли уже павильоны, выросла железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны (вероятно, капитальный ремонт), но нам нужнее дома.

Дачники, черт бы их взял!

Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзамам на шею. Пейзане приняли их, как библейскую саранчу, но саранчу жирную, и содрали с них за каждый час сидения, сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, материал на штаны, косы и домашнюю посуду.

Иван Ивановичи и Марья Ивановны забрали с собой керосиновые лампы, "Ключи счастья", одеяла, золотушных детей, и поселились в деревянных курятниках, и взвыли от комаров. Чрез неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзамским молоком, разведенным на 50 % водой, и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени, лаская глаз, выросла красивая надпись:

"Лето на Клязьме с 5 час. вечера"

и повсюду: "Ресторан".

На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бородачи в синих кафтанах и драли за $\frac{1}{4}$ версты дороже, чем в Москве за $1\frac{1}{2}$ версты.

За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко — вдвое!

— Пляж у нас, господин, замечательный... Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дождик!

(В сторожку) — Что это за люди, прости Господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!

Пейзане вставали в 3 часа утра, чтобы работать, дачники в это время ложились спать. Днем пейзамам доили коров, косили, жали, убирали, стучали топорами, дачники изнывали в деревянных клетушках, читали "Атлантиду" Бенуа, шлялись под дождем в тоскли-

вых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы их лечили от малярии, и по утрам пачками, зевая и томясь, стоя, неслись в дачных вагонах в Москву.

Наконец, дождь их доканал, и целыми батальонами они начали дезертировать. В Москву, в Эрмитаж и Аквариум. Еще дней 5-6, и они вернутся все.

Нету от них спасения!

Заключительный аккорд

Дождь, представьте, опять пошел.

Выйдем на берег.

Там волны будут нам ноги лобзать.

Москва, 2 августа

ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

— А вот угле-ей... углеееееей!..

— Вот чертова глотка.

— ... глей... глей!!..

— Который час?

— Половина девятого, чтоб ему издохнуть.

— Это, значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет, как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько и попадешь.

— Ну, да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.

— Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии...

— Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка...

— Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?

— Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху до низу лопнул. Вот тебе твой гум универсальный!

— Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На, зеленые.

— Ничего, я булабочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради бога!..

— Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а оптамус.

— Ну и что?

— Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он шведский.

— Чепуху какую-то твой Сема говорит.

— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее Бог наказал за то, что она в комсомол записалась.

— Бабы, конечно... они понимают...

— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого росту, замужня, на щеке у ей родинка...

— Постой, постой...

— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец, потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: Так-с. Ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!

— Ах, дрянь!

— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг воздушного флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на воздушный флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты с своего воздушного флота мордой об землю брякнулась!

Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит, наконец, комендант и говорит: Вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли... Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом Маркса при помощи воздушного флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та, как избеленилась — и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну, тут уж комендант рассвирепел: Я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня, как на аэроплане, вылетишь к свиньям! И ногами начал топтать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли на-шлись.

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька...

— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

— Деньги за энергию пожалуйста, 35 лимонов.

— Однако! Пять, десять...

— Это что. В следующем месяце 100 будет. Могэс по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

— Помилуйте! Кажется, видите... брюки...

— Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящий элемент.

— Вот именно. Честь имею...

— Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

— Точить ножжи — ножницы!..

— Но любовь все живет в моем сердце больном!

— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

— А за ним шарманка ползет...

— Ну, я полетел... Опаздываю... Прийду в пять или в восемь!..

— Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому... Клубника. Нобель замечательная... Булочки — свежие, французские... Папиросы "Красная звезда". Спич-ки... Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

— Извозчик! Свободен?

— Пожалте... Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

— Четвертак.

— Три гривенничка... Эх, ваше сиятельство, овес.

— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчицье.

— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

— Вор?

— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На 50 лимонов штрафуют.

— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

— Праскухин-то... слышали? 25 червонцев позавчера пристроил! Пристало отделение, а он расписался и, конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов сроку, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками...

— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче слоят. И месяца не пройдет, как поймут.

— Алло... Да, я... Не готово еще. Хорошо... На отношение ваше за № 21 580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщая, что ввиду того, что губкасса... Машинистки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая... написали?.. что изданное, перед "что" запятая, а не после "что", изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в Роно и Уоно и Губоно... а также утвержденное губсоцвом... Алло! Нет, повесьте трубку...

— А я тут к вам поэта направил из провинции.

— Ну, и свинство с вашей стороны... Вы, товарищ? Позвольте посмотреть...

Но если даже люди
 Меня затопчут в грязь,
 Я воскликну, смеясь...

Видите-ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование... Право не могу вам посоветовать... журналов много... Попробуйте... Переутомился я, и денег нет... Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй, юй, юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот... Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте... Извозчик! Гривенник!..

— Подайте, барин, сироткам...

— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

— В кассе денег ни копейки.

— Позвольте... Что ж вы так сразу... Я ведь еще и не заикнулся...

— Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан, за капитаном — Юрий Самойлович, за Юрием Самойловичем...

— Знаю, знаю... А патриарх-то? А?

— Капитан поехал его интервьюировать...

— Это интересно... Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста... Извозчик! Двугривенный... Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа... Ну, разве на минуту... Общее собрание у них... Ну, мы подождем и их захватим... Стой!

Во Францию два генерала
 Из русского плена брели!

Ого-го!.. А мы сейчас два столика сдвинем... Слушс... Раки получены... необыкновенные раки... Граждане, как вы насчет раков? А?... Полдюжины... И трехгорного полдюжины... Или лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы уже условились... на минуту...

Иная на сердце забота!..

Позвольте... позвольте... что ж это он поет?..

В плену... полководец... в плену-у-у...

А! это другое дело. Ваше здоровье. Братья-писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе... полководец!
Из гроба твой ве-е-ерный солдат!!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская... Раки-то раки! В первый раз вижу...

Viv! Viv!! Народу-то! Позвольте... что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!

Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-олге!.. Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А... а!!

— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться...

— Граждане, а что, если нам красного "Напареули"?

А?... Поехали! На минуту... Сюда! Стоп! Шашлык семь раз...

Был душой велик! Умер он от ран!..

... Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем... Viv!!... Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

— Три рублика!..

— Очень хорошо. Очень.

— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание и никаких! Не мог!

— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

— Деточка. Ей-богу. Что, бишь, я хотел сказать? Да. Проскухин-то, а? Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит... Да бухгалтер же... Брюнет...

— Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

— Это верно... Что, бишь, я хотел сделать? Да, лечь... Это правильно. Я ложусь... но только умоляю разбудить меня, разбудить меня, непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого... нет, пять десятого... Я начинаю новую жизнь... Завтра...

— Слышали. Спи.

ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

— Можно зайти?

— Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

— Иди и садись на диван!

(От двери) — А как я по паркету пойду?

— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

— Нициво.

— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза) — Я ревел.

— Почему?

— Меня мать наслепала.

— За что?

(Напряженная пауза) — Я Сурке ухо укусил.

— Однако.

— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки по-отнимал.

— Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида) — Я с тобой не возусь.

— И не надо.

(Пауза) — Папа приедет, я ему скажу *(пауза)*. Он тебя застрелит.

— Ах, так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелит...

— Нет, ты чай делай.

— А ты выпьешь со мной?

— С конфетами? Да?

— Непременно.

— Я выпью.

На корточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером-Джерома.

- Стихи-то ты, наверно, забыл?
- Нет, не забыл.
- Ну, читай.
- Ку... Куплю я себе туфли...
- К фраку.
- К фраку и буду петь по ночам...
- Псалом.
- Псалом... И заведу... себе собаку...
- Ни...
- Ни-це-во-о...
- Как-нибудь проживем.
- Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.
- Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
- (*Глубокий вздох*) — Пра-зи-ве-ем.
- Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
- Ты одинокий.
- Джером падает на паркет. Страница угасает.
- (*Пауза*) — Это кто же тебе говорил?
- (*Безмятежная ясность*) — Мама.
- Когда?
- Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присывает, присыва-
вает и говорит Натаске...
- Так-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю...
- Ух!
- Горячий, ух.
- Конфету какую хочешь, такую и бери.
- Вот я эту большую хоцу.
- Подуй, подуй, и ногами не болтай.
- (*Женский голос за сценой*) — Славка!
- Стучит дверь. Петли поют приятно.
- Опять он у вас. Славка, иди домой!
- Нет, нет, мы с ним чай пьем.
- Он же недавно пил.
- (*Тихая откровенность*) — Я... не пил.
- Вера Ивановна. Идите чай пить.
- Спасибо, я недавно...
- Идите, идите, я вас не пущу...

— Руки мокрые... белье я вешаю.

(Непрощенный заступник) — Не смей мою маму тянуть.

— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

— Погодите, я белье повешу, тогда прийду.

— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

— Я не месая. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хочу. Ты мне сказку Расскажи.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие, Расскажи.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть.

— Ну-с, так вот, жил, стало-быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Угу... Как меня?

— Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, естественно, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, не долго думая, хватя его зубами за ухо, и пол уха как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порют, он тоже орет... Кой-как

приклеили Шуркино ухо синдетиконом, Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: "А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?". Славка отвечает: "Это я — Славка". "Ну, вот что", говорит, "Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан". Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся: "Признаюсь", говорит, "что дрался я, и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал — сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь". "Ну", говорит надзиратель, "это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твоё раскаяние". И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: "Выбирай, что твоя душа хочет". А вот что Славка выбрал, я и забыл..

(Сладкий, сонный бас) — Велосипед!..

— Да, да, вспомнил, — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит, и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: "Ну, и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?". А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: "Право держи!". Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?..

Петли порт. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

— Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела

на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не придет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: "Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург". Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, а три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть...

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть...

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

— Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то.

Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить. Поздно.

— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска.. тоска...

— Что я делаю... что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

I

Пища богов

— Жуткая свинья. От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны.

— Вася!! Ведь ты врешь?

— Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов, все, что ни скажу, все вру! Сто восемнадцать пудов свинья.

— Ты сам видел?

— Все видели.

— Нет, ты скажи, ты сам видел?

— Ну... мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!

— Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?

— Я почему знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.

— Где ж такую свинью развели?

— А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужицкие свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят, да и сами заведут таких.

— Нет, Вася... Ты такой человек... такой человек...

— Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II

На Москве-реке

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят громыхающие ящики трамвая "Б" с красным аншлагом: "На выставку". Полным-полно. Обгоняют грузовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков — полосатая спина бухар-

ского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легок, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

— Дюшес, дюшес сладкий!

И машины рвякуют, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратные "Б", а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчу и бормочет:

— Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камнями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков воздушного флота налетают со всех сторон.

— Гражданин, значок! Значок!

— Газета "Смычка" с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III

Кустарный

Из глубины — медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. "Зажигать огонь и курить строго воспрещается". Сигнал. "В случае пожара..." и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синевшая и стальная гладь Москвы-реки.

"Sibcustrош" — изделия из мамонтовой кости. Маленьки бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы "Н.К.В.Т." и щиты, и на щитах меха. Чернобурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные — недопесок, синяк, гагара. Соболя прибайкальские, якутские, нарымские, россомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

"Игрушки — радость детей", и кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат устали полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

Gossprit. От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-ти градусным водкам, пестроэтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их вьются вокруг поставца, ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных — спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приводе, куда сбегает легкие лестницы, экипажи, брички показательной образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса...

Лампы вспыхивают под потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV

Цветник — Ленин

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждает. Духота.

Главное здание — причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке — внутренний цветник. У входа — гигантские разные деревянные торсы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него издали ка затерявшийся под краем подковы — главного павильона — оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

— Доро-гой! Ильич!!

Опять грохот. Затем буйный марш, и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобородые мужики, армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабочие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сиплым шепотом.

— Н-да, трудновато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное полонничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью вырачен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок его речи.

Три электро-солнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народу. (Москва, август).

У

Вечер. Узбеки

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

— Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром приходишь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь — кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон сельскосоюза. В стеклах дыни, груши. Рядом — темноватая глыба. Чернеет подпись "закртыо". В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластаный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательных орошаемых участков, темны и неясны очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины — Павла — Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями электрическими, резки-

ми, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тюбетейки, чалмы.

За Туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пес-трех толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежеванные туши. Мечутся фартуки. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и черный неизвестный восточный гражданин Республики курит.

— Кто вы такие? Откуда? Национальность?

— Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки, так узбеки. К узбеку в кассу сыпят 50-ти и сторублевые бумажки.

— Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка.

VI

Движение

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет и тоже темно. Тоже еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галлерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает "услуживший" в какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто. Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части стены кар-

тины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественные столовые.

Посредине сервирован стол. Так чисто, на красивой посуде будут есть, когда процветет "Narpit".

Выставка теперь живет до 12 часов ночи. Но за два, за три часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить.

На выставку надо ездить много — раз пять, шесть, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать.

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус. Отсюда в город трамвай идет полный, до отказа. Тучи ждут. Когда в него попадешь?

Вон мелькнула надежда. Стоит черный автомобиль с продолговатыми лавками.

— Берете публику?

— Нет. Это машина Горбанка.

Но вот спасительный красный ящик. Неуклюж, как слон, облуплен, тяжел, грузен.

— До Страстного?

— 75 рублей.

Скорее садиться. Места занимают в миг.

О Боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем. Физиономия настолько озабоченная, портфель настолько внушительный, взгляды настолько сосредоточенные, что сразу видно — не простой смертный, а выставочный. Так и есть.

— Вот я организую автобусное движение. На хороших машинах.

— Очень бы хорошо было. А то, знаете ли, пропадешь.

— Еще бы... Ведь это не машина, а...

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так, что язык вскочил между зубами.

Так и надо. Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к Храму Христа.

— Только бы живым выйти!

VII

Через две недели

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко изменился деревянный город.

Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и заступал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающихся за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы, выросли киоски — пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII

Надия на Бога и пожарный телеграф

Бычный пожарный, трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. "Центральный пожарный отдел".

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упряжь, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать. Во всю стену огнеупорная стена из "Соломита" — прессованной соломы. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно; без всяких футуристических ухищрений реально написана картина — горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоволосые простирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись:

— Кому разум не помог, молитва не поможет.

Харьков выставил литографии. На одной украинец, спокойный и

веселый, у беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий, оборванный у пепелища.

— Я не вживав заходив проти пожеж. Жив на одчай и покладав надію на Бога — й пожежа довела мене до вбожества.

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как проложить трубы от печек, чтобы они были безопасны, ценные огнетушители Богатыря и Рекорда, водоподъемник системы Шенелис, всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

— Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю, куда угодно...

IX

Как сберечь свои леса

В Дом Крестьянина — большой двухэтажный дом — вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла впереди и объясняла:

— Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом Крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В Доме такая суета, что разбегаются глаза и смутно запоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, идут вверх, вниз. И вдруг — дверь и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

— Товарищ! Мыслимое ли это дело? А? — восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике, — прав он или не прав? Если неправ, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но не будучи еще приучена к соборному действию, рук не поднимает.

— Выходит, стало быть, прав? Пуцай, вырубает? Здорово! — волнуется картуз на сцене, — товарищи, кто за то, что он неправ, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

— Это так! — удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора, — присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония:

Надо, надо нам учиться,
Как сберечь свои леса,
Чтоб потом не очутиться
Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит навстречу толпа и опять женский голос:

— ... и увидите уголок Владимира...

Х

Карамель, табак и пиво

От Дома Крестьянина по берегу реки дальше вглубь, в зелень, к Нескучному Саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вон он Моссельпром. Грибом каким-то. Под шапкой надпись "Ресторан".

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке — симпатичный павильон! 2-я государственная кондитерская фабрика имени П.А. Бабаева, бывшие знаменитые Абрикосова Сыновья.

На стенах — диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпром.

В банках и ампулах сепаризованные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-й государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий — 7042 пуда, в мае — 10 870 пудов.

В следующем отделении запах табака убивает карамель. Халаты

на работницах синие. Дукат. По-иностранному тоже написано: "Doukat". Машины режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились "Привет с выставки".

Дальше приютился славный фруктовый бывш. Калинин, ныне первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок — что выпускает бывш. Калинин теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: "на чистом сахаре".

XI

Опять табак, потом шелка, а потом усталость

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь б. Асмолов, а теперь донская государственная фабрика в Ростове на Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными острогранными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки — тыккульк, дубек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: "Мотыженье в пору даст обилие сбору", "Вершки и пасынок оборвешь, лучший лист соберешь".

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделяют табаку, а только готовые папиросы.

* * *

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом "Махорка". Плакат кричит крестьянину: "Сей

махорку — это выгодно"...

Довольно табаку. Дальше!

* * *

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галлереей-балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевиотов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского Гос. Пенькового Треста, "The Petrograd State Hemp Trust", выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки трестов: шелко-трест, хлопчатобумажный трест, суконный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный "Мострикоб"...

Московский текстильный институт со своими шелковичными червяками, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не "осматривать"... В один раз не осмотришь все равно и десятой доли. Поэтому — назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда — потом, павильон НКПС'а — потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник), Мосполиграф — потом...

К набережной — смотреть закат.

XII

Кооперация! Кооперация! Неудачник — Японец

А он прекрасен-закат. Вдали догорают золотые луковицы Христа Спасителя, на Москве-реке лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В

толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное, специфически-мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

— Фирма существует 2000 лет, — рассыпается купец.

— Батюшки! — изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает Господа Бога, и получает от жулика-купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка — кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут же устраивает кооперативную лавку, и заваливает мужика товаром. Победенный купец валится набок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими козлиными голосами:

Кооперация! Кооперация!
Даешь профит ты нации!..

— Товарищи, — вопит мужик, обращаясь к толпе, — заключим союз и вступим все в Центросоюз.

* * *

У пристани Доброфлота — сотни зрителей. Алюминиевая птица — гидроаэроплан RRDaе — в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой — один червонец с пассажира. В толпе — разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Феодоровичем Горбуновым.

— Юнкерс шибче Фоккера!

— Ошибаетесь, мадам, Фоккер шибче.

— Удивляюсь, откуда вы все это знаете?

— Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно, потому мы в Петровском парке живем.

— Но ведь вы сами не летаете?

— Нам не к чему. Сел на 6-й номер, и в городе.

— Трусите?

— Червонца жалко.

— Идут. Смотри, японцы идут! Летать будут!

Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы.

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две — он уже уходит гудящим жуком над Нескучным Садам.

— Улетели три червончика, — говорит красноармеец.

XIII

Бои за трактор. Владимирские рожечники

Вечер. Весь город унизан огнями. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум — в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: "Трактор и электрификация в сельском хозяйстве".

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор ненужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то, что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

— Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова — электрификация, механизация, механизация и тому подобное, и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: "Правильно!"). Профессор говорит, что нам, мол, трактор ненужен. Что это обозначает, товарищи? Это

означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковыряй, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи ("Браво! Правильно!").

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпагат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, взывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита и, в конце концов, начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например, в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

— Не понимаю, почему меня называют мракобесом? — удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылается на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние 5 изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

* * *

Кончен диспут. Валит все гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встает

перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводы,
сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не
то какая-то ясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта.
И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроз-
дьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из
Нескучного медный марш.

Москва, сентябрь

БЕЛОБРЫСОВА КНИЖКА

Формат записной

5 ч и с л а

№ билета не забыть 50.897.013. Кузину литературу и поехать в район...

... День-то, день... Да уж это день! День, братцы мои. Утром позвонили, в полдень телеграмма. Сон Шехерезады, товарищи! Оценили Белобрысова. Вспомнили! Шел к нему в кабинет и думаю — я ли, не я? Встал он, брючки подтянул, говорит — оправдайте доверие наше, товарищ Белобрысов, а равно и беспартийной массы в размере 150 миллионов. Стою — плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет... чепуха... я помню день, ах это было, я помню день, ах это было...

Кругобанка директором!! Понимэ ву? Кругосветных операций банка директором. Эх, мама, покойница, не в смысле семейного быта и пережитков говорю, Боже сохрани, — в смысле того, что, вот, старуха, родила Белобрысова — сына республике. И сам не понимаю что говорю. Поймите, что, может, сiju, как болван здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма: Белобрысова Семена кругобанка... Эх, гори, сияй моя звезда!..

Между листами расписка Моспочтамта:

Куда: Одесса.

Кому: Якову Белобрысову.

Слов: 16.

6 ч и с л а. Швейцар... К машине выходил... Говорю — сам я.. Сам... Помилуйте, товарищ. Не понимаю, где делают такие стекла? 3 сажени. На-а... Даа... 4 аппарата (6-89-05 не забыть) и какой-то с белыми цифрами. По 8-му повертел и пришел — честь имею рекомендоваться — заведующий отделом австралийских корреспондентов. Спрашиваю и сам не знаю, почему... я помню день..., а, говорю, с Малайскими у нас как островами? Конечно, отвечает и сам улыбается. Кругосвет! Улыбка открытая и золотые зубы. Вот только одеты все! Все острые носы. Ногу поджимаю, потому что латка у меня и хром. Смешно, конечно... Мне, как марксисту, на латку плевать, но спрашиваю, где, мол, ботинки вы покупаете?

Вместо ответа берет 6-89-05 (не забыть) и спрашивает: ваш номер позвольте узнать, товарищ директор? Я и бухнул — домсоветский! Коммутатор, говорю, 78-50-50, добавочный 102. Улыбнулся. № ботинок, говорит, Семен Яковлевич? Какой там номер! Получил, говорю, в райкоопе. Он в телефон: пришлите выбор — дюжину лак — замша, каблук рантованный, те, что я беру. Ошалел я, спрашиваю — простите, может быть, это неудобно? Улыбнулся. Помилуйте, говорит, Семен Яковлевич, вам по магазинам разве будет время ходить. От парового отопления веет, а в Севвообороте в шубе сидел у окна. Эх!

... В сущности... нога, как в вате... Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить...

Батюшки! Брат Яша с женой одесским семь пятнадцать приехал. Получил братуля телеграмму и прилетел. Радости было!.. Семь лет не видались. Остается в Москве. Я рад. Он у меня братан — молодец, по коммерческой части. Будет с кем посоветоваться. Эх, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение... Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки, борода черная — веером. Жена красавица. Волосы, как золото. Хохоту было! Теснота у нас в 8 доме. У меня две комнатухи — повернуться негде. А она-то! Манто котиковое... серьги бриллиантовые. Немножко я даже смутился. Она шмыг, шмыг по коридору, быстрая, в серьгах, а у нас бирюки ответственные... косятся... Пустяки. Они беспартийные...

Между листами.

Ч е р н о в и к Т е л е г р а м м ы .

Одесса присконсульту Югокофе.

Прошу взыскание векселям Якова Белобрысова приостановить семь дней.

Диркругбанка Белобрысов...

... Хохотал. Да они, говорит, на карачках, чудак ты, поползут. Да я им, говорит, сукиным сынам, теперь загну салазки. Они мне петлю на шею накинули! Американец у меня братуха оказался единоутробный, а я и не знал.

9 ч и с л а

Боже мой! Что было! Ай, да братуха американ! Два раза был монтер домовой и со станции... Оборвали телефон!

Между листами.

В ы р е з к а и з г а з е т ы " И з в е с т и я " .

Срочно требуется квартира не далее кольца "А", 6 - 8 комнат ванной удобствами. Платой не стесняюсь. Вношу одновременно 1000 (тысяча) червонцев... Указавшему сто. Звонить круглые сутки 78-50-50 добав. 102. Як — Бело — ову. Лично от 10 час. утра до 12 часов ночи.

... Что ж он делает?! Предлагали борзых собак. Спрашиваю, зачем марксисту борзые собаки? Страусовые перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне! К концу дня осатанел... На лестнице стояли! Скандал! Журил братишку. Оттуда звонили? Ого! Яша хохотал: причем тут ты? "Як" ведь. На мое имя! Наши ответственные, как туча...

1 4 ч и с л а

Господи! Муни-то, Руни-то! Квартир, говорил, нету. Вот тебе и нету. Ничего подобного не видал — в центре жилая площадь с лепными потолками...

1 5 ч и с л а

Черт его знает... Боюсь... Да понимает же он?.. Братул-то! Между листами.

На машинке обрывок: 0 выдаче ссуды в размере 10.000 (десять тысяч) рублей золотом кооптовариществу "Домострой" в составе Капустина, Гонцера, Дрицера и Як. Белобрысова...

... Целовала, целовала, называла фрэр!.. Кричала — Яша не ревнив... Отвернись! Яша на тахте, играл на гитаре — что мне до шумного света, что нам друзья и враги! Да он прав в концов. Если мне не отдыхать, с ума сойдешь.

... Машину к 11-ти. Яша говорит, что на такой машине только свистунам ездить. Рол-Ройс, говорит, приличная. Ну, эта пока...

1 7 ч и с л а

Яша на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40-50-60. Франко — Гамбург.

В книге выдрано 15 листов.

. . . ч и с л а

Не согласна. Только в церкви... Венчались тайком. Голова моя идет кругом! Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах! Шампанское... Боже... В соседней комнате она сейчас

переодевается... Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели. Что Яша-братусик учинил — уму непостижимо! Да плевать я, говорит, хотел! 50 червонцев шваркнул за зеркало! Да если, говорит, завтра у меня пройдет Иваново-Вознесенская благополучно, да я, говорит, этого метр-дотеля в Дюрсе утоплю!!

Две гитары за стеной... Переодевается она теперь, ноги-то... Яша на столе плясал фокс-тrott... снял с жены махривостока юбки... Это ужас!.. Две гитары... две гитары...

... За стеной переодевается...

1 ч и с л а

60-05-50. По счету, если Яша не вывернет Иваново-Вознесенска, не знаю, как быть. 60-08 — 80-11-15, 16-15-14. Две гитары...

... Хожу, как в бреду... Две гитары... Яша сказал, что ты, говорит, ее должен, как королеву, одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова... Ей, говорит, кольцо... Сам ездил на Кузнецкий, купил... 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет!

2 ч и с л а

Сукин сын Яшка, лопнул с Иваново-Вознесенском.

4 ч и с л а

Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор... Две гитары... Не спал всю ночь...

7 ч и с л а

Просили прибыть... в районе доклад важный "Штурм унд Дранг в условиях Нэпа". В-важность! У меня тут свой Дранг — голова идет кругом!

... Б-боже. Насело Югокофе, как банный лист. Я эту мразь, текущего заведующего, убил бы на месте! Позвать его!!

9 ч и с л а

Исусе Христе! Яшка гадость — пал в ноги и признался — Домострой лопнул! Чисто!.. Угрожал застрелиться и выл. Содом — Гоморра! Две гитары... Содом!

1 2 ч и с л а

Срочно менять на черной. Гонцер — Дрицер пропал.

1 3 ч и с л а

Взяли ночью. Взяли в 2 ¹/₂ часа пополуночи.

Выдрано 3 листа.

. . . ч и с л а

... ах ты, жизнь моя, жизнь... Сегодня у следователя не выдержал, сказал Яшке — ты не брат, а подколотная стерва! Яшка, бей, говорил, бей меня!.. Ползал по полу, даже следователь удивлялся змее...

... Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть...

... Гори, моя звезда!.. Я помню день... Лучше б я... Эх... И ночь... Луна... И на штыке у часового горит полночная луна.

ЗОЛОТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Из моей коллекции

Предисловие коллекционера

Когда описываешь советский быт, товарищи писатели земли русской, а в особенности заграничной, не нужно никогда врать. Чтобы не врать, лучше всего пользоваться подлинными документами. Таких документов (писем рабочих-корреспондентов из советской провинции) благодаря любезности знакомых у меня накопилось до 200 штук. Некоторые из них я привожу полностью, в точности сохраняя стиль.

I

Брандмейстер пожаров

Покорнейше Вас прошу, товарищ литератор, нашего брандмейстера пожара (фамилия с малой буквы. М.В.) описать по красивее с рисунком.

Был у нас на станции Н. Балтийской советской брандмейстер гражданчик Пожаров. Вот это был пожаров, так знаменитый пожаров, чистой воды Геркулес, наш брандмейстер храбрый.

Первым долгом налетел брандмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах, так что наши железнодорожники, товарищи — граждане, братья — сестрицы вымерзли как киты.

Налетал Пожаров в каске как рыцарь среднего века на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта бой семь заседаний, не хуже Перекопа. Насчет клуба загнали месткомские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал Пожаров с факелами, совершенно изничтожил печную идею, почему покрылся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым и прекратилось население в библиотеке отныне и во веки. Аминь. Аминь. Просвещайся где хочешь!

И еще не очень-то доказал гражданин брандмейстер свою преданность Октябрю! Когда годовщина произошла, то он, что сделает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками. И по-

жарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому и ввиду пожара, мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек!

Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. Х. подмосковную. Поздравляем Вас братцы подмосковники, будете вы иметь!

Было жизни пожарной у нас ровно два месяца и настала полная тишина с морозом на северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи.

Фамилию мою не ставьте, а прямо напечатайте Иван Магнит язвительнее сделайте его.

П р и м е ч а н и е :

Милый Магнит, язвительнее, чем Вы сами сделали Вашего брандмейстера, я сделать не умею.

II

Крокодил Иванович

У нас на заводе, по милости нашего знаменитого дурака заводского Гаврюшкина, случилась невероятная история. Родили одновременно 13-го и 14-го числа две пролетарских работницы жена истопника Ивана Морозова и Семена Волдырева. И наш завком предложил устроить младенцам октябрини, дабы вырвать их из рук попов и мракобесия, назвав их революционными именами Октября.

В назначенный час зал нашего клуба имени коминтерна заполнился ликующими работницами и работниками. И тут Гаврюшкин известный неразвитием, но якобы сочувствующий, завладел вне очереди словом и громко предложил морозовскому сыну-ребенку имя:

— Крокодил.

И мгновенно указанный младенец на руках у плачущих матерей скончался.

Отсталые старческие элементы женщин подняли суеверный крик, и вторая мать бросилась к поселковому попу, и тот, конечно, воспользовавшись невежеством, младенца со злорадством окрестил во Владимира.

Наша заводская женщина-врач Шпринц-Шухова при кликах собрания объяснила, что помер младенец от непреодолимой кишечной болезни, как бы его ни назвали и уже был больной с 39 градусами, но темные бабы все разрушили, а Гаврюшкину угрожали жизнью. Не говоря уже что разнесли по всем деревням слухи и пропаганду хитрого попа и никто более октябриться не несет.

И подпись сделайте псевдоним "Сознательный".

П р и м е ч а н и е : "Крокодил" — юмористический московский журнал, хорошо известный рабочим даже в глухой провинции.

III

В ногу

Прошение трактирщика, направленное в Н-й уездный исполком

... Прошу согласно действующим законам о разрешении открыть на площади Карла Либкнехта пивную-чайную под названием "Красный Алеша-ша".

П р и м е ч а н и е : Разрешили-ли — мне неизвестно.

IV

Варфоломеевская ночь

Спасибо нашему ПЗЗЗ! Побывали наши рабочие на спектакле! Человек двести ушли без юбок в крови, а кто и без штанов. Получил наш ПЗЗЗ циркуляр — огородить театр от станционных сараев и ночью поставить столбы, а за день работы окутал колючей проволокой весь театр кругом и один лаз в дверь оставил в аршин. Станционные знали, а поселковые нет и с ребятами и семьями со всех сторон пришли и напоролись как полк ночью луны не было. Всю одежду рвало со страшными криками и руки и лица и ватные ценные пальто. Был ужас и даже не состоялся спектакль и было предложение убить этого ПЗЗЗ.

П р и м е ч а н и е : ПЗЗЗ — железнодорожное сокращение П.З. — смотритель зданий.

Москва, март 1924.

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюль Верна
с французского на эзопский перевел Михаил А. Булгаков

Часть I

Взрыв огнедышащей горы

Глава 1

История с географией

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился огромный необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку — махровых.

"Надежда", корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой махровых полей, рыбной ловлей и собиранием черепаших яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горé флаг и сказал по-английски: — Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимающие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его — Сизи-Бузи и "флаг не надо".

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи смылался на сардиночные коробки и умильно намекнул, что "огненная вода вкусная очень есть, да".

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообмен. Матросы сгрузили на берег с "Надежды" стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент "Нью-Йоркского Таймса" в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — Эфиопов остров (л'Иль д'Эфиоп).

Глава 2

Сизи пьет огненную воду

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы и громче всех махровые.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Кончилось это крупной неприятностью и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И таким образом вновь наступили ясные времена.

Глава 3 Катастрофа

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Глава 4 Гениальный Кири-Куки

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: "Что же будет дальше?"

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его ви-

деть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом "Таймса":

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его пререзал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил пронзительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком:

— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первый бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры и пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радио-молниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсова корреспондента:

— У дураков на острове национальный праздник — байрам точка мошенник гениален.

Глава 5

Bount

Затем события покатались со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, что арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал, негодный к употреблению, в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рикипил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к нему.

— Ды, как же это? — занял он, — ведь это что же? Вам и водка и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдерживаясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз слезы попеременно с крупными зелеными искрами.

— Вон!!! — закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат "Ченслер", проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

— "Острове огни всем праздникам ослов эфиопов снова праздник. Гаттерас".

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

На утро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дым превратился опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах "В чем дело?".

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

"Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов... (неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)".

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма уже не с острова, а из европейского порта:

"Ephiop sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaja tschouma. Gori trupov. Avansom piatsot. Korrespondent".

Часть II

Остров в огне

Глава 6

Таинственные пироги

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте — суда!!

Лорд Гленарван вышел с подозрительной трубкой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, пироги диких?

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейсс в сторону, — ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Паганель.

Ардан и Паганель угадали.

— Что означай-т? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа, арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ардан, — они собираются жить в Европе. Компренэ-ву?!

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван, — нет, вы обратно остров езжай...

Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши к черту попалили. Вот ежели бы какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже чем ваш паршивый остров весь. Да

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин Корреспондент верно пишет. Так и косит, так и косит. И опять же голод.

— Так-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет посмотреть, — и скомандовал, — в карантин!

Глава 7

Араповы муки

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил...

Глава 8

Мертвый остров

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову, — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо — прохвостам. Пуцай поумирают к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мертвецу Кири-Куки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

Глава 9

Засмоленная бутылка

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ:

"Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые дохнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы".

Рики-Тики посинел и взвыл:

— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пушай поумирают! Да ежели после всего их бунта, да еще и кормить...

— Я и не собираюсь, — холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности, это свинство... — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан, — можно было бы послать немного маису.

— Благодарю вас за совет, месье — сухо ответил Гленарван, — интересно знать, кто будет платить за маис? И так это арапская орава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись спросил Ардан, — позвольте узнать, сэръ, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэръ, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня, — ответил лорд, — вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда, Паганель — Ардана. Весь Ардан остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбегали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку:

"Спасибо за карболку и воловьи жиры надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы".

Уехавшие уперли с собою подозрную трубку, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

Часть III

Багровый остров

Глава 10

Изумительная депеша

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые, как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму:

"Чума кончилась. Слава Богу живы здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы".

На утро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

Остров говорит!!!
Загадочные радио!!! Эфиопы живы?!

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан, — это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда:

— Таперича, ваше преосвященство, единственно, перебить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?

— Мой будет посмотрейт, — ответил лорд.

Глава 11

Капитан Гаттерас и загадочный баркас

В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном пристал к берегу. Матросы усеяли

винты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода, и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан, — эти остолопы сами построили эту кривую дылду.

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей, — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас, — у них такие морды, как будто их кормили кашей "Геркулес"! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразило именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться — баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гаттерас, — если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И, обратившись к эфиопам, он спросил:

— Эй вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурился, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас, — теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:

— Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глядел на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на ряях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, eskortируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

Глава 12

Непобедимая Армада

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопишное. Арапы испускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У барачников стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил, как помешанный, и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо таперя, голубчики, вы у меня прыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирает глаза:

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированных громады в порту стали принимать арапов батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь!..

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот, вот и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, сасими ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд благодушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт, с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

Глава 13

Неожиданный финал

Как жемчужина, сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики, полный боевого пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодоносной земли острова навстречу незванным гостям встала неопишуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслошь только одно — боевой командный вопль:

— В штыки!

На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики ничто иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан, — я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, — отрываясь от подзорной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадцатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех. 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубку, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, при чем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом?! А-а-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5 и 6-м ребром с левой стороны.

— Помо... — ахнул вождь, — гите, — закончил уже на том свете — перед престолом всевышнего.

— Ура-ра!! — грянули эфиопы.

— Сдаемся!! Ура! Замиряйся, братцы!! — завyli смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.

— Ура-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше.

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса, — пусть меня повесят, если эти остолопы не смирились!! Гляньте, сэр!! Они братаются.

— Я вижу, — гробовым голосом ответил лорд, — мне очень интересный было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях.

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно сказал М. Ардан, — ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще я советую вам немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя — как дуновение ветра, над них головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал и неудачно.

Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собст-

венногласно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновидный Ардан, — ходу, сэр!! У них отравленные стрелы. Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник — артиллерист Гаттерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, наполненная солнцем береговая полоса.

Глава 14 Финальный сигнал

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом и суда хлестнули во все радиостанции словами:

Острове байрам чрезвычайных размеров точка. Черти пьют кокосовую водку!!

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму:

Гленарвану и Ардану! На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат. (неразборчиво).

С почтением,
эфиопы и арапы.

— Закрывать приемники, — грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому неизвестно.

МОСКВА 20-Х ГОДОВ

Вступление

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

— Ишь, домина! Позвольте, да ведь я в нем был. Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: "Идите в Златоуспенский переулок в 6 этаж, комната №"... позвольте, 242? а может, и 1807.. Забыл. Неважно... Одним словом, "Идите и получите объявление в Главхиме"... или Центрохиме? Забыл. Ну, неважно.. Получите объявление, я вам 25%". Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: "Идите, объявление получите", я бы ответил: "Не пойду". Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... о, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел, как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на 6 этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверением о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в 6 этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших Прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно

поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

— Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому, механик, и какие-то лубопытные бабы из 16-й квартиры.

— Экая оказия, — говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас это Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего-лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает "Тарзана". Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу, ни пешком, ни в лифте!

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом Дворе, на Старой Площади в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье Поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льно-трест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю инженеру, тот обнял меня, поце-

ловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно. Читателю, конечно, не интересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит оно действительно так!

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

I

Вопрос о жилище

...Эй, квартиру!!
(II-й акт "Севильского цирюльника")

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому: сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

* * *

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня и совершенно определенно в том, что москвичи утратили и самое понятие слова "квартира" и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: "Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)". Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты

щи, и поперек лестницы висел оборванный, толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала "Тарзана".

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

— Маня! *(из крайней картонки)*.

— Ну? *(из противоположной крайней)*.

— У тебя есть сахар? *(из крайней)*.

— В Лютсгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... *(из соседней правой)*.

— Конфеты есть... *(из противоположной крайней)*.

— Свинья ты! *(из соседней левой)*.

— В половину восьмого вместе пойдем!

— Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!

— Как же вы сюда попали?.. Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и ну! Благодарю вас, я пил... С конфетами?!.. Ну, их к чертям!.. Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокोगаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее и царит мертвая тишина. Тишина, это великая вещь, дар богов и рай, это есть тишина. А между тем, дверь у меня всего одна (равно, как и комнат) и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной, как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В.И. направлены в ущерб его ближним, и в кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю — играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О, нет, чудачки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он не мыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь покажет мне, что я неправ.

* * *

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем и сколько еще проживу — неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

— Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

— Ну, слава Богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

— Гм... иногда... как сказать... — ответил я уклончиво и вежливо поглядывая на жену, — вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.

— Я, я виноват, — поспешил уверить я.

— Кошмар. Кошмар. Кошмар, — заговорил доктор, глотая чай, — кошмар. Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: "Ты где был?", "На Николаевском вокзале". "Врешь". "Ей-Богу"... "Врешь". Через минуту опять: "Ты где был?". "На Нико...". "Врешь". Через полчаса: "Где ты был?". "У Ани был". "Врешь!!".

— Бедная женщина, — сказала жена.

— Нет, это я бедный, — отозвался доктор, — и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

— Кого? — спросила жена подозрительно.

— Эту... клинику.

* * *

Он в Орехово-Зуево, а знакомая Л.Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим. И Василий Иванович останется, а она уедет! А Наталья Егоровна бро-

сила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеич, совершенно ошарашенный, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в "квартире" поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

— Надоела ты мне, божья старушка.

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев, или случаев подобных, я знаю за последнее время — целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно.

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт: в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу "О хорошей жизни".

Москва, 1924 г.

II

О хорошей жизни

Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:

— Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире, впадаете в ярость?

Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще, московские граждане, бросим мы эти файф-о-клоки к чертям!) и ответил:

— Поэтому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.

— Может быть, вы еще чаю хотите? — осторожно предложила хозяйка.

— Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт, — со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.

— Вам хорошо говорить, — продолжал я, закуривая, — когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.

Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карманы. В одном он ничего не нашел. В другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды и там не нашел.

Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер "Накануне", полюбовался на него и сказал:

— Пропала куда-то. Ну, ладно.

С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.

— Пошел вон! — закричал, краснея, Юрий Николаевич. Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.

— Однако.

— До ремонта ее не было, — пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой, — а вот, сделали ремонт и дыру.

— Так ее же можно заделать.

— Нет уж, я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает.

Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел. — Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.

— Куда?

— В бумажке написано: не касается.

Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.

* * *

В самом деле: как это так "вытряхнитесь"?! Ведь месту пусто не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место "втряхнется" Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гаврилычу вытряхательную бумажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия...

Нет, граждане, это чепуха какая-то получается!

* * *

В лето от рождества Христова... (в соседней комнате слышен комсомольский голос: "Не было его!!!") ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года 1922 и 1923-й страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Труд-книжку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартиру, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.

(Голос Юрия Николаевича за сценой: Да у вас отличная комната!!)

Хор греческой трагедии. Бескомнатные:

— Эт-то возмутительно!!!

Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывает лучше.

И так — застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренно ликую

вал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он, бишь, назывался?.. Центрожил... ну, одним словом, те, что в 21 — 22-м г.г. комнаты раздавали по ордерам. По сколько лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?.. "жил" этот, кажется, упразднили. И уже появились в "Известиях" объявления "Ищу... Ищу... Ищу...", а я так и сижу. Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.

* * *

Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартира, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты.

Ведь это же сверхъестественно!!

Четыре комнаты — три человека. И никого посторонних.

И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку "вытряхайтесь!!!".

А она взяла и... не вытряхнулась.

Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры.

Зина, ты орел, а не женщина!

Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.

* * *

Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.

* * *

На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явствовало, что у означенного Яши студия.

Яша — ты гений!

* * *

А Паша...

Довольно!

* * *

С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что.

Два сорта, живущих хорошей жизнью:

1. Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иванович, Яша, Паша и др...).

2. Ничего не имели, приехали и получили.

Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме. Затем неизменно идут неприятности на сердце от трефовой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальняя дорога и в заключительном аккорде бубновый туз (десять, по амнистии — два, в общем, восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза — Абрам, на абрамово место Федор...

Довольно...

Проект

Так же, конечно, немислимо! В воздухе много проектов: в числе их бумажки о выезде 2-х в такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.

Все это не то.

Действителен лишь мой проект:

М о с к в у н а д о о т с т р а и в а т ь .

Когда в Москве на окнах появятся белые билетки со словами:

"Сдаеца",

все придет в норму.

Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской маятой — у од-
них на сундуке в передней, у других в 6 комнатах в обществе не-
ожиданных племянниц.

Экстаз

Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

Москва, май 1924 г.

ВЕЧЕРОК У ВАСИЛИСЫ

Отрывок из романа "Белая гвардия"

Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень-то людная улица.

Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летели за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках.

Началось с обеда, и пошел, пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество заглохло почему-то в полсвета, и Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря — мозги — пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка Лебидь-Юрчиков лежала на полу, а рядом с ней пачка сегодня только привезенных Василисой со службы из "Управления Нижне-Днепровскими шоссейными путями" зелено-желтых бумажек.

— Ты дура, — сказал Василиса жене.

Ванда изменилась в лице и ответила:

— Я знала, что ты хам, уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовских столбов.

Василисе мучительно захотелось ударить ее, ударить со всего размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще, и бить ее до тех пор, пока это проклятое костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. Он, Василиса, измучен. Ведь он, в конце концов, работает, работает, как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома! Василиса скрипнул зубами и сдержался, нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно предположить.

— Делай так, как я говорю, — сквозь зубы сказал Василиса, — пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда? А это никому не придет в голову. Все в Городе так делают.

Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу — к столу с внутренней стороны кнопками пришиливали пятисоткарбованцевые бумажки.

Лебїди-Юрчики не поместились. Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.

Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле.

— Неудобно, — сказала Ванда, — понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.

— И перевернешь, руки не отвалятся, — сипло ответил Василиса, лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в Городе делается? Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, все офицеров ищут...

В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыру. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый, красноватый свет. Василиса жевал ломтики французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как подлая сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстук. Не понимая, что мучает его, Василиса смотрел на жующую Ванду и представлял ее мертвой. Умирают же люди? О, зачем, зачем он тогда женился? Зачем?

Одиннадцать лет он тянет лямку, как бессрочный каторжник. Нет! Она не попадет под трамвай, тиф ее не хватит, нет. Она будет жива, это несомненно, и мучениям впереди нет никакого срока. Зачем? Какой дьявол толкал его на безумный поступок? Почему понадобилось каторжной цепью связать себя с этим желтым лицом, газетными папилютками и тонкими бледными губами? Боже... Боже. Да ведь теперь, будь он один, холост, свободен, какая бы у него была чудесная, сказочная, воистину, жизнь. Сейчас бы вечером он был один. Явдоха бы пришла... Всегда можно было бы устроить так, чтобы она пришла. А теперь... Василиса представил себе труп Ванды, убитой и разрезанной на четыре куска. Его можно было бы запаковать в корзину и отправить в Брест-Литовск. Брр, страшно... Найдут... Поймают...

— Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, — говорила Ванда, обращая взор к потолку, — я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и опять сейчас квартира полна офицерами...

В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске и злобе, они показались ему невыносимо подлыми.

— Удивляюсь тебе, — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться. — Ты прекрасно знаешь, что, в сущности, они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защитить Город от этих (Василиса понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...

Ванда впилась глазами и закивала головой...

— Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его ранили...

— Ну вот то-то, значит, нечего и говорить, радоваться: "сошло", "сошло".

Ванда лизнула губы.

— Я не радуюсь, я только говорю "сошло". А вот мне интересно знать, вот если, не дай Бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?

Василиса нахмурился и покосился.

— Можно будет сказать, что он доктор... Наконец, откуда я знаю? Откуда?

— Вот то-то, откуда...

На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.

Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:

— Знаешь что, может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?

Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.

— Ах, Боже мой, — тревожно молвил Василиса, — нет, нужно идти. — Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды с тревожными расширенными глазами выглянуло в коридор.

Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке.

На мгновение у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных — кто-нибудь сейчас же вышел бы, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг: "Ты чего стучал? А? Боишься чего-то?" и кроме того мелькнула, правда, слабая надежда, что, может быть, это и не они, а так что-нибудь.

— Кто там? — слабо спросил Василиса у двери.

Тотчас же замочная скважина отозвалась в живом Василисе сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок.

— Видчиняй, — хрипнула скважина, — из штабу. Та не отходи, а то стрельнем через дверь...

— Ах, Бож... выдохнула Ванда.

Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.

— Скорийш... — грубо сказала скважина.

Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акации, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.

— Позвольте узнать, по какому же поводу...

— С обыском, — ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным.

— Тогда извините пожалуйста, — голос Василисы звучал бледно, бескрасочно, — может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель... Не знаю, почему же ко мне? У меня ничего, — Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал — нема.

— Ну, мы побачимо, — ответил первый. Как во сне, двигаясь под напором хрустящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел иноходью и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к травле и снегу существа. Он говорил на страшном и неправильном языке — смеси русских и украинских слов — языке, знакомом жителям Города, бывающим на Подо-

ле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал на бок.

Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с траченными молью ушами, серая шинель и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки.

Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гное-точащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях — лапти поверх пухлых серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — восково-желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдальчески-злобно.

— Побачимо, побачимо, — повторил волк, — и мандат есть.

С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его пронзил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней.

На скомканном листке-четвертушке со штампом:

— Ш т а б 1 - г о с и ч е в о г о к у р е н я — было написано химическим карандашом косо крупными каракулями:

— П р е д п и с у е т с я з р о б и т ь о б ы с к у ж и т е л я В а с и л и я Л и с о в и ч а , п о А л е к с е в с к о м у с п у с к у д о м № 13. З а с о п р о т и в л е н и е к а р а е т с я р о с т р и л о м .

Начальник Штабу *Проценко*
А д ь ю т а н т *Михлук*.

В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.

Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой:

— Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...

Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула:

"Ай". Лоснящийся от машинного масла кольт, черный, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.

— Кто в квартире? — сипловато спросил волк.

— Никого нету, — ответил Василиса белыми губами, — я, та жинка.

— Ну-те, хлопцы, — смотрите, та швидче, — хрипнул волк, обращаясь к своим спутникам, — нема часу.

Гигант тотчас потрянул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Революеры спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.

— Оружие е? — спросил волк.

— Честное слово... помилуйте, какое оружие...

— Нет у нас, — одним дыханьем подтвердила тень Ванды.

— Лучше скажи, а то бачил росстрил? — внушительно сказал волк.

— Ей-Богу... откуда же?

В кабинете загорелась зеленая лампа и Александр II-й, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как ходит, грозно вертя голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками, легко, игрушечно, бесшумно, своими руками, привыкшими к большим тяжестиям, сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их... Туп... туп... глухо постукивала стена. Тук, отозвалась внезапно пластинка на тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах:

— Що я казав? — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку, легко играя. Бумажный переkreщенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к противоположной стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.

— Что же ты, зараза, — заговорил он горько, — що ж ты? "Нема, нема?" Ах, ты сучий хвост! Казал нема, а сам гроши в стену заховав, запечатав? Тебя убить треба.

— Что вы? — вскрикнула Ванда.

С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.

— Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег то мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы...

Василиса говорил и глядел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.

— Тебе заарестовать бы требовалось, — назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели, — Ну-те, хлопцы, беритесь за ящики.

Из ящичков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос: полезли из зеркального шкафа, горбом, одеяла, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати смотрели Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.

— Яки гарны ботинки, — сказал он тонким голосом, — а что они, часом, на мене не придуться?

Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул.

— Они шевровые, панове, — сказал он, сам не понимая, что говорит.

Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев.

— Молчи, гнида, — сказал он мрачно. — Молчать! — повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо скажи нам, що мы тебя не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ. Ты молчи, — продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. — Накопил вещей, нажрал храпу, розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди ходят? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл? У-у, матери твоей, — в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху, он дернул рукой. Ванда вскрикнула: "Что вы?"... Волк не посмел ударить представителя Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. "Вот так революция", — подумал он в своей розовой аккуратной голове, — хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно...

— Василько, обувайсь, — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезали на серые, толстые чулки. — Выдай козаку носки, — строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как будто что-то лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису — не скажет ли чего? — но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с огромными глазами. Спальная стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клоушь изорванных подштанниках и смотрел на свет брюки.

— Дорогая вещь, шевиот... — гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки

из кармана со словами: "Якись бумажки, берите, пане, може нужные?" — Со стола волк взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры.

Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.

— Часы нужная вещь, без часов — як без рук, — говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе, — ночью глянуть сколько времени — незаменимая вещь.

Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе:

— Вы, пане, дайте нам расписку... (какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой).

— Как? — шепнул Василиса.

— Расписку, що вы нам вещь выдады, — пояснил волк, глядя в землю.

Василиса изменился в лице, его щеки порозовели:

— Но как же... Я же... (он хотел крикнуть: "Как? я же еще и расписку?", но у него не вышли эти слова, а вышли другие), вы.. вам надлежит расписаться, так сказать...

— Ой, убить тебе надо, — злобно задумчиво ответил волк, — вбить тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца... Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас. Як насекомых. У-у, вижу я, добром с тобой не сговоришь. — Хлопцы, ставь его к стенке. У, як вдарю...

Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным.

— Ай, — в ужасе крикнула Ванда и ухватила за руку волка, — что вы? Помилуйте... Вася, напиши, напиши.

Волк выпустил инженерово горло, и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине, воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блок-нота листок, макнул перо. Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.

— Как же писать? — спросил Василиса слабым, хриловатым голосом.

Волк задумался, поморгал глазами.

— Пишить... по предписанию штабу сичевого куреня... вещи...
вещи... в размере... у целости сдал...

— В разм... — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.
... Сдал при обыске. И претензий ни яких не маю. И подпи-
шить...

Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отводя
глаза:

— А кому?

Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодо-
вание и только вздохнул.

— Пишить: получив... получили у целости Немоляка... (он задумался, посмотрел на урода)... Кирпачий и отаман Ураган.

Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую "Василис", протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться.

В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского.

Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурным и тихонько крикнул: "ша". Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, слова. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь — запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю, там в передней гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал:

— Холодно буде.

Он надел Василисины калоши.

Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами:

— Вы вот що, пане... Вы молчить, що мы були у вас. Бо, як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьют. С квартиры до утра не выходить, за це строго взыскується.

— Прощени просим, — сказал провалившийся нос гнилым голосом.

Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса, радостно, на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподнимаясь на цыпочки, быстро, толкаясь. Прогрели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто, в передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнувшись головой об стену, крупные слезы залили ее лицо.

— Боже. Что же это такое?!.. Боже, Боже. Вася? Среди бела дня. Что же это делается?

Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено.

— Вася, — вскричала Ванда, — ты знаешь? Это никакой не штаб, не полк. Вася! Это были бандиты.

— Я сам, сам понял, — бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками.

— Господи, — вскрикивала Ванда, — нужно бежать скорей, сию минуту, сию секунду заявить, ловить их. Ловить! Царица небесная. Все вещи. Все. Все. И хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь... А?.. — она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине.

— Куда ж, куда? — спрашивал Василиса.

— Боже мой, в штаб, в варту! Заявление подать. Скорей... Что ж это такое?..

Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.

Москва.

ПРИМЕЧАНИЯ

Записки на манжетах (стр. 11-22)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 18.6.1922, с. 5-7. *Другие редакции:* в "Возрождении" (альманах), Москва, 1923, № 2, с. 15-19; в "России", 1923, № 5, с. 20-25; в "Звезде Востока", 1967, № 3, с. 10-18; в "Гранях", 1970, № 77, с. 74-81 (текст, идентичный варианту "Звезды Востока"). *Немецкий перевод:* в кн.: М. Bulgakow, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 10-40 (компиляция текстов "Возрождения" и "Звезды Востока"). Все четыре варианта, опубликованные в "Накануне", "Возрождении", "России" и "Звезде Востока", отличаются друг от друга.

В отличие от "Накануне" тексты в "Звезде Востока" и в "Гранях" не содержат частей 1-8 и 11-14. Зато эти редакции содержат отсутствующие в первой публикации отрывки "История с великими писателями", "Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7" и "После Горького я — первый человек". В настоящем издании эти отрывки не печатаются, так как "Грани" достаточно распроданный журнал.

Тексты "Накануне" и "Возрождения" значительно отличаются друг от друга. Так, в "Накануне" нет первой части варианта "Возрождения", а также глав "История с великими писателями" (которая содержится в "Звезде Востока" и в "Гранях") и "Бежать, Бежать". Первая часть варианта, опубликованного в "Возрождении", и глава "Бежать, Бежать!" перепечатываются полностью. Вследствие того, что остальные тексты, в основном идентичные, все же обнаруживают словоизменения, купюры и добавления целых абзацев, ниже приводятся разночтения. Издатели выражают свою благодарность профессору Ф.П. Ингольду за предоставления в их распоряжение текста "Возрождения".

Между редакциями "России" и "Накануне" ничего общего нет. Лишь только тексты глав "Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7" и "После Горького я — первый человек" в вариантах "России" идентичны соответствующим кускам в "Гранях", поэтому они сюда не включены. Остальная часть редакции "России" воспроизводится ниже целиком.

Сравнение глав "Записок на манжетах", содержащихся и в "Накануне" и в "Возрождении"

Стр. 12, 7: в "Возрождении": Впрочем, вы не знаете. 21: отсутствует в "Возрождении". 34: строки в "Возрождении" нет.

Стр. 13, 1: как их — *поправлено* в соответствии с "Возрождением", в "Накануне": каких; слова: Черкесы — в "Возрождении" нет. 14: в "Возрождении": За какой ковер?. 30: Литераторы — *поправлено* по "Возрождению", в "Накануне": литературы. 31: в "Возрождении": Ящики отнимают.

Стр. 14, 10: слов: С креста снятый — в "Возрождении" нет.

Стр. 15, 10: штанах — в "Возрождении": брюках. 13: выходил — в "Возрождении": входил. 17-19: текста: и грянул ... чрезвычай- ку — в "Возрождении" нет. 23: слов: и посулил ... доклад — в "Возрождении" нет. 29: слов: в ключья — в "Возрождении" нет.

Стр. 16, 17-23: отсутствуют в "Возрождении".

Стр. 17, 10-13: отсутствуют в "Возрождении". 21-22: в "Возрождении": игрушечной тесной.

Стр. 18, 9-12: отсутствуют в "Возрождении". 26: в "Нахануне" следующего текста нет: ... А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

— А вот "Музыкальные гримасы"...

И немедленно, повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и золотом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полной негодности. Он уже не сидел, а лежал в повалку, взмахивая руками, и стонал...

... Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!.. 32: Естественно — в "Возрождении": Натурально.

Стр. 19, 1: Р. Ивнев — в "Возрождении": Рюрик Ивнев. 5: слова: повел — в "Возрождении" нет. 8: в "Нахануне" следующего текста нет: Третий — Осип Мандельштам. Вошел в насмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— На Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ... но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда... 9: мучным поездом — *поправлено в соответствии с "Возрождением"*, хотя там тоже ошибка: с мучным поездом — в "Нахануне": с поездом за мукой. 14 и 25: Серафимович — *поправлено по "Возрождению"*; в "Нахануне": беллетрист. 15: предложения: Голос глухой. — в "Нахануне" нет.

Стр. 20, 4: *Lumen coelum, sancta rosa.* — *поправлено по стихотворению Пушкина "Жил на свете рыцарь бедный..."*, 1829 г.; в "Нахануне": *Lumen coeli, sancta rosa.* 8-9: текста: и парашу ... издохну. — в "Возрождении" нет. 13: фраза: Я голодаю. — в "Возрождении" нет.

Стр. 21, 11: по Базару — в "Возрождении": по Пури Базару. 21: нады ... парнографии — в "Возрождении": надо ... порнографии. 22: сачиним — в "Возрождении": сочиним. 26: в "Нахануне" следующего абзаца нет: Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

Стр. 22, 2: отсутствует в "Возрождении".

Из "Возрождения" (стр. 5-7):

I

Сотрудник покойного "Русского Слова", в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку "в 2 колонки", но губы неожиданно сложились дудкой: — фью-ю!

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...

Кто продаст автомобиль?

Сверху: "Маленький фельетон", сбоку "корпус", снизу "Грач".

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель: Тэкс. Тэкс!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну что-ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. Finita la comedia!

И еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

— Стойте! — завопил я, опомнившись, — стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что же меня мучит? Credito непонятное? Сутолка? Нет, не то... Ах, да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руки поднять. Вот, полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

— Мишуня, поставьте термометр!

— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

— Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

— С ума сошли!..

Пишет жаром утес и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не

надо распускаться! Пустышная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. В миг полегло бы... А потом — голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной воеводе победительная!..

Ах, нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где, бишь, монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

— Ларисса Леонтьевна, где монашки?!

— ... Бредит... бредит, бедный!..

— Ничего подобного. И не думаю бредить. Монашки! Ну, что вы, не помните, что-ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...

— Мишуня, нельзя читать!..

— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

— Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки, канашки мои!..

— Ларисса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него... Поймите!

— Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

— Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что-ли, вы ее посыпали?... Пить!

— Сейчас, сейчас!..

— А-ах, теплая, дрянная!

— ... ужасно. Опять сорок и пять!

— ... пузырь со льдом...

— Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ларочк-а-а! Достаньте!..

— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Голова!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна.

Из "Возрождения" (стр. 17-18):

XII

Бежать, Бежать!

— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контр-революционного. Я не знаю их быта. И, вообще, я ничего не могу писать. Я устал и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того вечера мы стали писать. У него была круглая, жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому, что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

— Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: "автора"!

За кулисами пожимали руки.

— Пирикрасная пиеса!

И приглашали в аул...

... Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!

... Косом дождь сек лицо и, ежась в шинелишке, я бежал перекладками в последний раз — домой...

... Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

Из "России" (стр. 20):

Московская бездна. Дювлам

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается во тьме. В мозгу жуткие раскаты:

C'est la lu-u-tte fina-a-le!..

... L'internationa-a-ale!!

И здесь — также хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку — медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

— Три пуда... Утапывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеп-

лявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть, как?..

... Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых. Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малюют. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан-Дойль. Любимая опера — Евгений Онегин. Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного — коменданта, и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте от страха показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: "папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?".

Папа стоял во тьме и бормотал: "сало... так, масло... так, белая, черная... так".

Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.

Из "России" (стр. 21-25):

Я включаю Лито

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик (драмы; он конечно оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: "... дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 г."

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то "вредителях", 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал "Трех мушкетеров" неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Момент, — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами, Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: в Изю.

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: секретарь.

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь, верно, Лито... — сказала первая.

Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте машину. Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

— Я думаю, что больше чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину, и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— У вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

Первые ласточки

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: Шторн.

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью "Штаты". В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: пр. назн. инстр. За завед. буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул зачем-то в шкаф. Вздохнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

Мы развиваем энергию

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

— Слушайте, говорят тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова:

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось — есть писатели. Лозунги должны были посылааться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т.е., печальная жена разбойника) составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1. Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все пере-численные плюс король.

2. Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3. К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.

4. Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы "на лозунги" не было. Но —

У старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому: а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо.

б) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо.

с) За лозунги уплатить по 15 т. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 ч. 50 м., а в 3 ч. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5-6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

У старика — 3 лозунга.

У молодого — 3 лозунга,

и т. д., и т. д.

Словом: каждому 45 тысяч.

У-у, как дует... Вот оно, вот, начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

Неожиданный кошмар

... Клянусь, это сон!!.. Что же это колдовство, что ли?!.

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидел: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?!. Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?... Канатчикова дача!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!.

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

1836

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лито... Не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь, если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестизэтажное здание было положительно страш-

но. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по теплым извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил во тьму. Наконец, вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

... Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это суцая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее в голове.

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так значит нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры = 72. 72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-ой подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше уже место придет секция Музо.

— Зачем?

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

- Да мы думали - вам скажут...
 Я скрипнул зубами:
 — Вы видели этих женщин? Что рядом...
 Шторн сказал:
 — Это верно.

Полным ходом

... Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр. назн. делопроизв.

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов.

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее "Пр.". Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

Деньги! Деньги!

12 таблеток сахарину и больше ничего...

... Простыня или пиджак?..

0 жаловании ни слуху, ни духу.

... Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте нашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к мадам Крицкой.

Мадам Крицкая встала, качнула пучком сидящих волос и сказала, побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Мадам Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается — уму непо-стижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: Не проведен основоположник Лито старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

... Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут, действительно, Рок.

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде второй день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше, чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: Выдать. Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

О том, как нужно есть

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал "Войну и мир". А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетерианский обед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетерианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович!

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора.

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и $\frac{1}{4}$ фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба займы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит:

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяйна...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

Гроза. Снег

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5-6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу, — сказал он. — Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

... Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции — уездным Лито приказал подшить и сдать. потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

* * *

Москва краснокаменная (стр. 23-27)

Первая публикация: в "Накануне", 30.6.1922, стр. 2. *Перепечатка:* в "Сельской молодежи", 1966, № 1, стр. 37-38.

Красная корона (стр. 28-33)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 22.10.1922, стр. 2-3.

В ночь на 3-е число (стр. 34-46)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 10.12.1922, стр. 3-6. Этот отрывок — вариант заключительной главы "Белой гвардии", который не вошел в окончательную редакцию. "Алый мах" — рабочее название романа. См. тоже в предисловии.

Стр. 38, 24: в "Накануне": черным блузником.

Столица в блокноте (стр. 47-61)

I-II: *Первая публикация:* в "Накануне", 21.12.1922, стр. 2.

Стр. 49, 34: в "Накануне": Грузим раз два ...

III-IV: *Первая публикация:* в "Накануне", 20.1.1923, стр. 6. *Перепечатка "Триллионера" (IV):* в "Литературной газете", 13.9.1972, стр. 16. *Немецкий перевод этой части:* в кн.: М. Bulgakov, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 61-64.

V-VII: *Первая публикация:* в "Накануне", 9.2.1923, стр. 2-3. *Перепечатка "Биомеханической главы" (VI):* в "Русской мысли", 22.5.1969, стр. 8.

Стр. 54, 12 и 14: в "Накануне": вытерли.

VIII-X: *Первая публикация:* в "Накануне", 1.3.1923, стр. 5.

Стр. 61, 11-12: в "Накануне": нарываюся.

Чаша жизни (стр. 62-66)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 31.12.1922, стр. 10-11.

Сорок сороков (стр. 67-73)

Первая публикация: в "Накануне", 15.4.1923, стр. 2-3. *Перепечатка:* в журнале "Москва", 1963, № 5, стр. 162-166. *Немецкий перевод:* в кн.: М. Bulgakov, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 41-52.

Стр. 70, 16: в "Накануне": потоптал.

Стр. 71, 8: в "Накануне": загорится. 31: в "Накануне" опечатка: сложи.

Под стеклянным небом (стр. 74-77)

Первая публикация: в "Накануне", 24.4.1923, стр. 2.

Московские сцены (стр. 78-84)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 6.5.1923, стр. 2-3. *Перепечатка под названием "Четыре портрета":* в сб.: М. Булгаков, "Трактат о жилище", Москва-Ленинград, 1926, стр. 17-24; *под прежним названием:* в "Русской мысли", 22.5.1969, стр. 5. *Английский перевод (Four portraits):* в кн.: М. Bulgakov, Diaboliad and other Stories. Ed. by E. and K. Proffer, translated by K. Proffer. Bloomington-London 1972.

Бенефис лорда Керзона (стр. 85-88)

Первая публикация: в "Накануне", 19.5.1923, стр. 3.

Путевые заметки (стр. 89-91)

Первая публикация: в "Накануне", 25.5.1923, стр. 4. Иногда встречающееся в библиографических подборках указание под названием "Русская жизнь" ошибочно. Подборка приложена к рубрике под этим названием, в которой различные корреспонденты сообщали об актуальных событиях в Советском Союзе.

Комаровское дело (стр. 92-97)

Первая публикация: в "Накануне", 20.6.1923, стр. 2-3.

Стр. 95, 10: частица: б – в "Накануне" нет.

Стр. 96, 12-13: чуйки = мещане.

Киев-город (стр. 98-107)

Первая публикация: в "Накануне", 6.7.1923, стр. 2-4.

Стр. 100, 23: в "Накануне": бешеным метом.

Самоцветный быт (стр. 108-111)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 15.7.1923, стр. 1-2. *Перепечатка:* в кн.: М. Булгаков, Рассказы. Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала "Смехач". Ленинград, 1926, стр. 47-50. *Немецкий перевод части 3 ("Сколько Брокгауза может вынести организм"):* в кн.: М. Bulgakow, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 70-71.

Самогонное озеро (стр. 112-117)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 29.7.1923, стр. 9. *Перепечатка:* в кн.: М. Булгаков, Трактат о жилище. Москва-Ленинград, 1926, стр. 25-30. *Английский перевод:* в кн.: М. Bulgakow, Diaboliad and other Stories. Ed. by E. and K. Proffer, translated by K. Proffer. Bloomington-London 1972.

Шансон д'Этэ (стр. 118-122)

Первая публикация: в "Накануне", 16.8.1923, стр. 2-3.

День нашей жизни (стр. 123-128)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 2.9.1923, стр. 7.

Псалом (стр. 129-133)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературное приложение), 22.9.1923, стр. 7. *Перепечатки:* в кн.: М. Булгаков, Трактат о жилище. Москва-Ленинград, 1926, стр. 11-16. - Избранные произведения Михаила Булгакова. Изд.: А.Пайман. Оксфорд, 1972. *Английский перевод:* в кн.: М. Bulgakow, Diaboliad and other Stories. Ed. by E. and K. Proffer, translated by K. Proffer. Bloomington-London 1972. *Немецкий перевод:* в кн.: М. Bulgakow, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 118-124.

Золотистый город (стр. 134-149)

I-IV: *Первая публикация:* в "Накануне", 30.9.1923, стр. 2.

Стр. 136, 30: в "Накануне": вздохи вьются их вокруг ...

V-VI: *Первая публикация*: в "Накануне", 6.10.1923, стр. 2.

VII-X: *Первая публикация*: в "Накануне", 12.10.1923, стр. 2.

XI-XIII: *Первая публикация*: в "Накануне", 14.10.1923, стр. 2-3.

Белобрысова книжка (стр. 150-154)

Первая публикация: в "Накануне", 26.3.1924, стр. 2-3.

Стр. 150, 7: в "Накануне": позвонился, в полдень ...

Золотые документы (стр. 155-157)

Первая публикация: в "Накануне", 6.4.1924, стр. 3. *Перепечатка части 1 ("Брандмейстер Пожаров")*: в кн.: М. Булгаков, Рассказы. Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала "Смехач". Ленинград, 1926, стр. 27-29.

Стр. 157, 23: в "Накануне" очевидная ошибка: скучал колючей...

Багровый остров (стр. 158-173)

Первая публикация: в "Накануне" (Литературная неделя), 20.4.1924, стр. 2-6. *Перепечатка*: в журн.: "Континент", 1976, № 10, стр. 343-362. *Английский перевод*: в кн.: М. Bulgakov, Diaboliad and other Stories. Ed. by E. and K. Proffer, translated by K. Proffer. Bloomington-London 1972.

Стр. 170, 30: в "Накануне": перекатил ему глотку ...

Москва 20-х годов (стр. 174-185)

I: *Первая публикация*: в "Накануне", 27.5.1924, стр. 2-3. *Перепечатка под названием "Трактат о жилище"*: в сб.: М. Булгаков, Трактат о жилище. Москва-Ленинград, 1926, стр. 3-10. *Немецкий перевод — сокращенный вариант первого отрывка — под названием "Schreiben in Moskau"*: в кн.: М. Bulgakov, Wohnraum auf Rädern. Hrsg. v. F.P. Ingold. Zürich 1975. S. 7.

II: *Первая публикация*: в "Накануне", 12.6.1924, стр. 2-3.

Стр. 181, 22: в "Накануне": В нем он ничего не нашел.

Стр. 184, 4: в "Накануне": явственно, что у ...

Вечерок у Василисы (стр. 186-196)

I: *Первая публикация*: в "Накануне", 31.5.1924, стр. 2-3. II: *Первая публикация*: в "Накануне", 3.6.1924, стр. 2-3. Вариант главы из третьей части "Белой гвардии", который не вошел в окончательный текст. Он отличается от публикации "Накануне" изменениями слов и сокращениями. Так, в романе нет эпизода (24 страницы), в котором Василиса воображает, сколь прекрасна была бы его жизнь, если бы умерла его жена Ванда ("Не понимая, что мучает его, Василиса смотрел на живущую Ванду и представлял ее мертвой... Его можно было бы запаковать в корзину и отправить в Брест-Литовск. Брр, страшно. Найдут... Поймают.").

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

- 1 Sabine Appel: Jurij Oleša. "Zavist'" und "Zagovor čuvstv". Ein Vergleich des Romans mit seiner dramatisierten Fassung. 1973. 234 S. DM 24.-
- 2 Renate Menge-Verbeeck: Nullsuffix und Nullsuffigierung im Russischen. Zur Theorie der Wortbildung. 1973. IV, 178 S. DM 18.-
- 3 Jozef Mistrík: Exakte Typologie von Texten. 1973. 157 S. DM 18.-
- 4 Andrea Hermann: Zum Deutschlandbild der nichtmarxistischen Sozialisten. Analyse der Zeitschrift "Russkoe Bogatstvo" von 1880 bis 1904. 1974. IV, 198 S. DM 20.-
- 5 Aleksandr Vvedenskij: Izbrannoe. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Kasack. 1974. 116 S. DM 15.-
- 6 Volker Levin: Das Groteske in Michail Bulgakovs Prosa mit einem Exkurs zu A. Sinjavskij. 1975. 158 S. DM 18.-
- 7 Геннадий Айги: Стихи 1954 - 1971. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1975. 214 S. DM 20.-
- 8 Владимир Казаков: Ошибка живых. Роман. 1976. 201 S. DM 20.-
- 9 Hans-Joachim Dreyer: Petr Veršigora. "Ljudi s čistoju sovest'ju". Veränderungen eines Partisanenromans unter dem Einfluß der Politik. 1976. 101 S. DM 15.-
- 10 Николай Эрдман: Мандат. Пьеса в трех действиях. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1976. 109 S. DM 15.-
- 11 Karl-Dieter van Ackern: Bulat Okudžava und die kritische Literatur über den Krieg. 1976. 196 S. DM 20.-
- 12 Михаил Булгаков: Ранняя неизданная проза. Составление и предисловие Ф. Левина. 1976. 215 S. DM 24.-
- 13 Eva-Marie Fiedler-Stolz: Ol'ga Berggol's. Aspekte ihres lyrischen Werkes. 1977. 207 S. DM 20.- (im Druck)
- 14 Christine Scholle: Das Duell in der russischen Literatur. Wandlungen und Verfall eines Ritus. 1977. 194 S. DM 20.- (im Druck)

München · Verlag Otto Sagner in Kommission

